



ВИКТОР
ПРОНИН

ЛЕДЯНОЙ ВЕТЕР

АЗАРТА



Виктор Алексеевич Пронин

Ледяной ветер азарта

Серия «Черная кошка»

Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=179526
Ледяной ветер азарта: Эксмо; М.: 2009
ISBN 978-5-699-32548-1

Аннотация

Точно известно, что в разгар ссоры Горецкий ударил ножом Елохина. Но кто столкнул с обрыва Большакова? Что происходило на Острове, когда на него обшился тайфун? Почему рабочие, укладывающие нефтепровод, схватились за ножи? Почему решились на побег заключенные? Следователь Белоконь упрямо ищет ответы на эти вопросы, ибо закон торжествует, только опираясь на истину. А закон должен торжествовать всегда.

Содержание

* * *

Конец ознакомительного фрагмента.

4

129

Виктор Пронин

Ледяной ветер азарта

Там, за далью непогоды,

Есть блаженная страна...

Н. М. Языков



Однажды, случайно оказавшись в Москве, я вспомнил, что здесь вот уже несколько лет живет Панюшкин. Мне говорили, что квартира его где-то в районе Тушина, что добраться туда долго и хлопотно. Был уже вечер, шел слякотный зимний дождь вперемешку со снегом, прохожие попадались, как назло, молчаливые, торопливые, непонятливость заезжего их раздражала. Когда я спрашивал о справочном бюро, мне чаще всего молча показывали куда-то вдоль улицы. И я послушно шел, не ропща, даже радуясь непогоде. Кто-то сказал, что плохой погоды не бывает, плохой бывает только одежда. А моя одежда в тот вечер могла бы выдержать гораздо большие неприятности, нежели те, которые валялись с исполосованного снежинками темного неба. Кроме того, в кармане грел авиабилет на самолет, который завтра должен был унести меня за восемь часовых поясов. Дальняя, в общем, дорога предстояла. И я наслаждался мокрым сне-

гом, слякотью и щемящим чувством прощания с этим городом, в котором бывал довольно часто, но всегда неожиданно, недолго, нескладно.

Справочное бюро мне удалось найти у станции метро «Таганская». Пожилая мерзнувшая женщина в перчатках с обрванными пальцами, чтобы легче было листать толстые справочные книги, за пятак дала мне клочок плохой розовой бумаги с адресом Панюшкина, его домашним телефоном и даже номерами автобусов и трамваев, которыми я могу до него добраться.

Но, несмотря на столь полные данные, я не мог избавиться от сомнений – уж слишком невероятной представлялась мне наша встреча. Да и тот ли это Панюшкин? Когда наконец я решился позвонить, трубку подняла женщина. Голос у нее был молодой и безразличный.

– Простите, – сказал я, – это квартира Панюшкина?

– Да, – ответила женщина. – Но Николая Петровича сейчас нет. Он будет через час. Что-нибудь передать?

– Нет, спасибо. Я позвоню позже.

Через час трубку поднял сам Панюшкин. Я сразу узнал его голос, его сильные, упругие «о», которые явно возвышались над другими звуками.

– Чего ты теряешь время?! – закричал он в трубку. – Приезжай. Я жду. Ты где? На Таганке? Отлично. Садись на радиальную линию и через полчаса будешь у меня.

Нажимая кнопку звонка, прислушиваясь к шагам за две-

рю, к шелканью замка, я все больше волновался. Дверь мягко открылась. На пороге стоял Панюшкин. Невысокий, плотный, с редкими седыми волосами, глубоко сидящими синими глазами и крупным четким ртом. На нем были мягкие домашние туфли, пижамные брюки и теплая суконная куртка.

– Прошу! – сказал он, сделав большой шаг назад и широким жестом приглашая в квартиру. И я опять услышал это его «о». – Стол накрыт, а я никуда не тороплюсь. Ах, черт! – воскликнул он и с размаху ударил тыльной стороной ладони о телефонную полку. – Я ведь тебя забыл! Начисто! Будто и не было тебя никогда! Вот дает старик, а?

– Да, – согласился я, – мы не виделись с тех самых пор, когда приезжала Комиссия в январе... Помнишь? Еще Проллив все никак не хотел замерзать...

– Комиссия? – переспросил он. – Какая Комиссия?

– Ну как же, Николай Петрович! Которая приехала снимать тебя с занимаемой должности.

– Точно! – воскликнул он. – Была такая! Ах ты, ядрена шишка!

Панюшкин как-то замер, и, хотя смотрел мне прямо в глаза, я понял, что он не видит меня, что он смотрит сквозь эти несколько лет, в ту яростную зиму, когда при тридцати градусах мороза никак не хотела замерзать бешено несущаяся вода Пролива, когда он, Николай Петрович Панюшкин, по прозвищу Толыс, воевал со своим возрастом, с начальством, с Тайфуном, воевал, несмотря на то что по всем статьям уже

вроде давно должен был сдаться, когда его толкали к этому из самых лучших побуждений друзья и не из самых лучших – недруги...

– А ведь в самом деле была такая Комиссия... Прилетела она, помнится, а тут все летит вверх тормашками, какое-то преступление, допросы, очные ставки... Тогда и ты прикатил! Да из местной газеты кто-то был такой, помню, энергичный молодой человек... И этот... как его... Чернухо! Корифей подводных трубопроводов! Веселенький был январь... Да-да-да, – зачастил Панюшкин, остановившись с моей мокрой курткой, так и не донеся ее до вешалки. – Помню! Вся жизнь на кону, все на кону... Есть ты или нет тебя. Ох, заела меня тогда эта Комиссия, ох заела!

– Твое поведение многих озадачивало. А решения...

– А! – Панюшкин досадливо махнул рукой. – Одни и те же решения могут быть вызваны и слабостью, и силой. Что за ними – вот главное. Цель! Смысл! У каждого в душе есть такие провалы, в которые даже самому заглянуть страшно. И, как я понимаю, никто еще не прошел себя до конца, никто не опустился до самого дна своего! А тогда мне казалось, что я уже вот-вот почувствую дно. Ерунда собачья! Теперь-то я знаю, что до дна было еще ох как далеко! Знаешь, как иногда бывает – кажется, все, выложился до конца. Нет больше в тебе сил, нет зла, ненависти, любви! Ничего нет! Духу нет. Ты пуст. Конец. Ан нет! – Панюшкин выкрикнул последние слова с таким восторгом, будто только что доказал кому-то

свою неуязвимость. – Ничего подобного! Ты сдох для истории, в которую влип, для людей, которые сегодня окружают тебя. Но завтра тебя будут окружать другие люди, и ты проявишь новые возможности, одолеешь пакости похлеще тех, перед которыми рухнул вчера! Ядрена шишка! – Панюшкин смущенно улыбнулся и сник, будто не ожидал от себя этих слов, будто, произнеся их, допустил бахвальство, раскрылся в чем-то несимпатичном. – Пошли в комнату... Стол накрыт, ждет стол-то... Закуска стынет, зелье выдыхается... Нехорошо это, чтоб зелье выдыхалось. За встречу!

* * *

Самолетик летел над мерзлыми болотами, затянутыми туманом, над худосочной северной тайгой, над занесенными снегом реками, маленький и насквозь промерзший самолетик с инеем на иллюминаторах и на жестких металлических скамьях. Несколько раз он садился на таежных аэродромах, больше напоминающих обычную укатанную лыжню, пробегая мимо занесенных по самую крышу избышек, мимо трепещущих на ветру черных флажков – ими ограждали взлетную полосу. Сквозь тонкие борта слышались злые порывы ветра, скрип и скрежет каких-то тросов, распорок, креплений. Ненадежным казался самолетик, весь его вид настораживал и как бы предостерегал от слишком высоких надежд и честолюбивых планов. Самолетик заставлял вспомнить за-

бытые суеверия, выброшенные талисманы, осмеянные предчувствия.

Приземлившись, летчики, не обращая внимания на одинокого пассажира, что-то вытаскивали из самолетика, втаскивали в него, беззлобно смеялись над кем-то, договаривались о встрече за сотни километров в каком-то невероятно глухом медвежьем углу, захлопывали дверцы, отряхивали с себя снег, падали на остывшие сиденья и, не прекращая начатого разговора, выруливали на старт. Провожающие что-то беззвучно кричали им, махали громадными рукавицами, шапками, бежали следом. Самолетик набирал скорость, вздрагивая на сугробах, его бросало вверх, вниз, заносило в стороны, а потом вдруг наступало такое ощущение, будто он с проселочной дороги выехал на асфальт. Значит, поднялись. Теперь надо было быстро набрать высоту – до того, как приблизится темная стена леса. Последний раз мелькал черный ряд флажков, воткнутые в сугробы елочки у края взлетной полосы – и узкая просека пропадала. И было жутковато думать о том, что ее могли и не найти в бесконечном белом буране, среди заснеженных сопок. Но летчики находили и следующую просеку, приземлялись, сбрасывали мешки с почтой, брали вместо них точно такие же и снова поднимались.

Панюшкин сидел недалеко от кабины, плотно сжав крупные жесткие губы и весь уйдя в собачий мех куртки. За время полета от его дыхания углы поднятого воротника по-

крылись инеем, да и сам он казался меньше обычного, как бы смерзшимся. Но, как всегда, когда на него наваливались неприятности, когда он злился, дышалось легко, приходила уверенность, наступала готовность убеждать, доказывать, действовать.

Не любил Панюшкин, когда его вызывало начальство, прекрасно понимая, что вызывают чаще вовсе не для того, чтобы объявить благодарность или вручить премию. Поэтому, получив телефонограмму, только крякнул с досады и грохнул костяшками пальцев по столу. Была у него такая привычка – он вскидывал указательным пальцем очки повыше и тут же с силой бросал ладонь тыльной стороной на стол. «Эх, некстати!» – только и сказал. И начал собираться. И целые сутки, пока ждал самолета, не покидала саднящая беспомощность – словно какая-то неодолимая сила вмешалась в его жизнь, а он ничего не мог ей противопоставить.

Сквозь заиндеветый иллюминатор Панюшкин видел далеко внизу поземку надо льдом болот, кое-где можно было различить жиденькую рощицу, невысокую сопку, но в следующий момент все опять скрывалось в снегу, и через несколько секунд возникал новый пейзаж, точно такой же...

«Какого черта вызывают? – думал Панюшкин недовольно. – Опять, наверно, какая-нибудь пакость...» Надо же – сорвали с места, вызвали, затребовали, и вот он несется в этом дрожащем, гудящем снаряде уже какую сотню километров, а завтра, если не сегодня, предстоит обратный путь. Если бу-

дет самолет, оказия, погода и соизволение начальства.

Панюшкин ворчал, но в то же время был рад этой неожиданной поездке, нарушившей его не больно веселые будни. А позже, добираясь из аэропорта в городок, шагая по дымящейся от мороза улице, утонувшей между сугробами, маясь в приемной секретаря по промышленности, он все еще чувствовал в себе вибрацию самолетика.

– Может, ему напомнить? – спросил он, решительно оставившись у столика секретарши. Несмотря на небольшой рост, шаги у Панюшкина были крупные, поворачивался он резко, смотрел исподлобья.

Полная женщина с легкомысленным шарфиком на короткой шее вначале подперла пальцем строку, отметив место, где только что читала, сняла очки, приосанилась и только тогда подняла глаза:

– Простите, вы что-то сказали?

– Я спросил, не напомнить ли вашему начальнику обо мне? Поторчал я здесь уже достаточно и его самолюбие, полагаю, вполне ублажил.

Секретарша неодобрительно пожала округлыми плечами, поправила шарфик и убрала палец со строки. Ничего не ответила. Но буря, поднятая в ней словами Панюшкина, требовала выхода.

– Между прочим, он не только мой начальник, – проговорила она, не поднимая головы. – Странные, ей-богу, вопросы задаете... И должна сказать, что он, между прочим, не из

таких. Вот.

«Мызга, – подумал Панюшкин. – Задрыга жизни!» И от того что нашел достаточно обидное слово, ему даже легко стало. «Спокойно, Коля, – сказал он себе. – В конце концов все решения приняты, протоколы подписаны, повлиять ни на что уже нельзя, а раз так, то и волноваться нечего. Это еще не тот день, которого стоит опасаться. О, тот день! Он придет, от него тебе никуда не деться, ты задолго почувствуешь его. Уж он-то все расставит на свои места! Небось несется где-то, и вихрится за ним воздух, и шуршит, шипит, приближается твой последний день. Вот его бойся. А сегодняшний – для приятных забот, для милых бесед».

– Вас ждут, – эти слова секретарша произнесла не сразу. Вначале она озабоченно вышла из кабинета, подумала о чем-то, не выпуская ручку двери, будто решала – не вернуться ли ей, чтобы выяснить еще один вопрос, тоже очень важный, но все-таки прошла к своему столу, переложила бумажки, узнавая каждую и к каждой имея отношение, зная историю каждой бумажки и ее будущее, потом взяла телефонную трубку, чтобы позвонить кому-то, и уже набрала несколько цифр, но тут невзначай увидела этого человека. Вскинула брови как бы в растерянности – что ему здесь, в приемной, нужно? Ах да! Ведь его вызывали... И только тогда, не торопясь, произнесла приглашающие слова, продолжая набирать номер телефона. Но, заметив, что Панюшкин не смотрит на нее, положила трубку и унеслась куда-то, где ее любили и

баловали, где шутили с ней рискованные шутки, а она смеялась звонко и грозила пальчиком.

Панюшкин не по росту большими шагами подошел к обитой черным дерматином двери, взялся за ручку и, вздохнув, задержал дыхание. Рванув дверь на себя, он перемахнул через маленький темный тамбур, призванный ограждать кабинет от шума приемной, и ступил на мягкую ковровую дорожку, которая вела прямо к столу секретаря.

Секретарь по промышленности Олег Ильич Мезенов писал что-то, чуть склонив голову. «Конечно, – подумал Панюшкин, – что же ему делать, как не писать. Иначе посетители по своей испорченности могут, чего доброго, подумать, будто ему и заняться нечем. А так – пишет. Может быть, даже что-то очень важное. Проект постановления, например, или проект решения. И никто не осмелится даже подумать, что секретарь письмо куда-то строчит, возможно, сугубо личное письмо».

– Здравствуйте, Николай Петрович! Как долетели? – Мезенов поднял голову, улыбнулся, и его лицо, освещенное отраженным от бумаг солнечным светом, показалось Панюшкину оскорбительно молодым.

– Долететь – не вылететь, – обронил Панюшкин, усаживаясь в кресло. Он сразу понял, что секретарь волнуется. Значит, разговор предстоит серьезный. Панюшкин и за собой замечал эту слабину – волновался, когда предстояло сделать кому-то неприятность.

– Мне всегда нравились люди, способные сразу посмотреть в корень, – Мезенов отложил ручку, спрятал бумаги в папку.

– Сутулый потому что, вот и смотрю в корень, – Панюшкин быстро взглянул на секретаря из-под нависших бровей и снова опустил их, будто забрало опустил. «Молодой еще, совсем молодой, – подумал. – Горный окончил. Или политехнический. Хотя нет, скорее всего, экономический. Года два-три назад... Как же он успел? Голова варит! Выходит, варит».

– Мне кажется, Николай Петрович, что вы при желании и события можете предугадывать.

– Уж не предлагаете ли вы мне поменять работу?

– Пока нет, – Мезенцев твердо посмотрел Панюшкину в глаза. Его взгляд на миг дрогнул, но не ушел в сторону, только мягче стал, будто извиняющимся.

– Пока? А потом?

– Потом будет видно, Николай Петрович.

– Понятно, – буква «о» у Панюшкина звучала сильнее, звучнее других. – Понятно, – повторил он, глубже усаживаясь в кресло. Секретарь подтвердил худшие его опасения.

Панюшкин хорошо знал кабинетный ритуал, по которому, едва поздоровавшись, а то и до приветствия, хорошо бы так непосредственно обменяться простенькими шутками, рассказать забавную историю и этим подтвердить взаимное расположение.

Но сегодня первые же реплики обнажили суть предстоящего разговора. Он исподтишка окинул секретаря долгим, изучающим взглядом, стараясь проникнуть в этого человека, понять его характер, слабину. И увидел, что воротничок рубашки слишком уж велик Мезенову, верхняя пуговичка перешита, причем перешита неважно, видно, сделал это сам секретарь, сидя дома на кровати с еще голыми коленками, опаздывая и чертыхаясь. Да, Олег Ильич, судя по всему, не принадлежал к сильным личностям, для которых все вопросы давно решены и остается лишь проводить их в жизнь быстро и целеустремленно. Секретарю можно было доказать его неправоту – и это увидел Панюшкин. И понял, что за ручку при его появлении Олег Ильич схватился вовсе не для того, чтобы выиграть время, чтобы собраться.

– Сколько вам лет, Олег Ильич? – неожиданно спросил Панюшкин.

– Гораздо меньше, чем вам, Николай Петрович. Но сегодня, здесь, это не имеет слишком большого значения, верно? – Секретарь был напряжен, и от этого голос его звучал тоньше, пронзительнее, слова выскакивали быстрее, чем требовалось. Мезенов все время трогал на столе разные предметы, передвигал их, снова возвращал на место, поправлял.

– Пожалуй, – Панюшкин согласился с тем, что возраст секретаря в данном случае не самое главное.

– Мне двадцать семь. Не думаю, что так уж мало. Во вся-

ком случае, это не должно помешать нам говорить серьезно. Видите ли, Николай Петрович, я достаточно наслышан о вас...

– Что же говорят? – вскинулся Панюшкин.

– Вряд ли вы слышали обо мне столько же, я здесь недавно, – словно не слыша вопроса, продолжал Мезенов. – Я не могу похвастаться отличным знанием специфики вашей работы, знанием людей, с которыми вы общаетесь... Подождите, Николай Петрович, еще недолго... Но дело, порученное мне, я сделаю, чего бы это ни стоило. – На щеках Мезенова появился румянец, напряглись острые, какие-то худые желваки. – Мне кажется, что мы с вами, Николай Петрович, люди одного пошиба.

– В каком, интересно, смысле?

– В том смысле, что мы оба отдаем предпочтение делу, а не умению приятно вести беседу... Так что давайте не будем.

– Что не будем? – Панюшкин притворился, будто не понял.

– Давайте не будем разыгрывать комедию, щеголять возрастом, доказывать друг другу, кто из нас лучше, кто хуже, давайте не будем делать вид, что мы чего-то не понимаем.

– Мне кажется, я не дал вам оснований так со мной разговаривать, – обиженно сказал Панюшкин.

– Но я начал опасаться, что вы вот-вот дадите мне эти основания. Надеюсь, вы не в обиде, что придется говорить со мной, а не с первым секретарем? Если захотите с ним встре-

титься, подождите. Он вас помнит...

– Господь с вами, Олег Ильич! – воскликнул Панюшкин, хлопая себя ладонями по коленям. И подумал: «Он еще нуждается в самоутверждении. Ему неплохо бы сейчас выйти из-за стола и сесть вот сюда, к приставному столику, но не решается. Нуждается в поддержке этого громадного стола, призванного одним только видом своим служить авторитету учреждения». – Вы меня неправильно поняли, Олег Ильич, – проговорил Панюшкин. – Я вовсе не хотел попрекнуть вас возрастом. В это трудно поверить, но когда-то, очень давно, мне тоже было двадцать семь лет. И даже меньше. У меня остались очень неплохие воспоминания о том времени. Мы тогда строили мост в Средней Азии... Была невозможная жара, был донельзя скверный характер у речушки, которую мы пытались захомутать этим мостом... И я – молодой, сейчас вот припоминаю – невероятно молодой, тощий, загорелый, влюбленный...

– В дело? – улыбнулся Мезенов.

– Тогда я еще не знал, что можно быть влюбленным в дело.

– А сейчас?

– Сейчас я знаю только эту влюбленность.

– Ой ли? – улыбнулся секретарь.

– Да, сейчас я знаю только эту влюбленность, – повторил Панюшкин скорбно. – Хотя... это не влюбленность. Это нечто другое. Более необходимое, если угодно. Более безысходное. Тогда у меня был выбор, кроме любви была работа,

молодость, будущее... Самые крупные козыри, которые выпадают человеку. А ныне у меня только работа. Это козырь, но он единственный. Он не столько играет, сколько сковывает.

– Понимаю.

– Нет, это невозможно понять. Это можно только почувствовать. В свое время, разумеется, на своей шкуре.

– Возможно, вы правы.

– Тяжелое было время... Впрочем, у меня никогда не было легкого. Всегда получалось так, будто я работал для фронта. Все для фронта, все для победы! Этот лозунг никогда не терял для меня своей злободневности... – Панюшкин с удивлением прислушивался к себе. Когда успели созреть в нем эти слова? Это же сказать такое надо – всю жизнь работать для фронта, для победы! Смотри, дескать, какая у меня большая и содержательная жизнь! Среднеазиатский фронт! Сибирский фронт! Дальневосточный фронт! И повсюду весьма успешные боевые действия! Большой ты мастак, Коля, стал мозги людям пудрить!

Панюшкин продолжал говорить, ясно сознавая, что проносит именно те слова, которые нужны. Вначале он затеял разговор, чтобы дать Мезену возможность собраться, но теперь обнаружил, что прочно держит инициативу в руках и даже готов сам, по доброй воле перейти к главному. Ну что ж, пусть так.

– Да, этот лозунг и сейчас для меня злободневен. Потому

что и сегодня у меня не прекращаются войны с поставщиками, заказчиками, проектировщиками, снабженцами...

– С секретарями, – подсказал Мезенов.

– Да. И с секретарями тоже, – согласился Панюшкин. – Но если здесь еще кое-что зависит от меня, от моей настырности, если здесь я могу и проиграть, и выиграть, то есть противники, тягаться с которыми бесполезно.

– Вот мы и добрались до сути, – сказал Мезенов. – Противник, с которым вы не в силах тягаться, – это Тайфун. Верно?

– Олег Ильич! Мне приходилось иметь дело с пылевыми бурями. Это нечто неопишное. Я прекрасно знаю, что такое снежные заносы Сибири, морозы Якутии, пески Средней Азии! Я знаю, что такое затяжная бюрократическая окопная война и что такое министерская бомбардировка из орудий тяжелого калибра. Знаю. Но то, что я увидел осенью на нашей строительной площадке, мне сравнить не с чем. Нет больше таких вещей в природе! Тайфун – это не погода. Это не явление природы. Это... черт знает что! Катастрофа. Смерть. Можно бороться с болезнью, недомоганием, хандрой, но смерть... Она вне конкуренции.

– Я знаю, что такое Тайфун, – сказал Мезенов. – Я вырос здесь. Вы видели один Тайфун, а на моем счету их...

– Ха! Где вы их видели? В городе? Ну, погас свет, вода перестала бежать по трубам, автобусы валяются вверх колесами... Ну и что? А на пустынном побережье, на Проливе...

Олег Ильич, вся масса воды пришла в движение! Это термин такой – пришла в движение! Безобидный термин, но за ним...

– Я знаю, что стоит за ним.

– В таком случае, – Панюшкин откинулся в кресле и поднял голову, словно бросая вызов или подставляя лицо под удар, – в таком случае будем считать, что разминка закончилась. Итак?

Мезенов, не ожидавший столь резкого поворота, растерянно кашлянул, заглянул в листок, оставленный на столе, но быстро взял себя в руки, собрался:

– Итак, на сегодняшней день ваша стройка, вернее, стройка, которой вы руководите, обошлась государству в десять миллионов рублей. Это ее полная проектная стоимость. Но переходной трубопровод через Пролив не закончен, хотя исчерпаны не только деньги, но и время, отпущенное на его сооружение. – Каждое слово секретаря, казалось, все глубже вдавливало Панюшкина в мягкое сиденье. Он уже почти лежал в низком податливом кресле, будто опрокинутый навзничь, будто поверженный. Только синие глаза где-то под бровями светились холодно и зло. – Поэтому вам, Николай Петрович, придется отчитаться за десять миллионов рублей и за два года. Мы должны знать, куда делись деньги и куда делись годы.

– Ишь вы как, – вздохнул Панюшкин, приподнимаясь в кресле. – Круто берете, Олег Ильич. Так можно и не разо-

гнутья.

– Поможем, – обронил Мезенов.

– Но ведь есть отчеты, Олег Ильич! Отчеты, подписанные не только мной. Их подписал заказчик, с ними согласилось министерство, с ними хорошо знакомы вы....

– Николай Петрович! Речь идет не о вашей вине.

– Пока!

– Да, пока речь идет не о вашей вине. Никто не обвиняет вас в безграмотности, безответственности, беспомощности или преступном равнодушии к делам стройки. Речь о другом. Деньги израсходованы, а результата нет. В эту самую минуту под Проливом по трубопроводу должна идти нефть. Она не идет в эту минуту под Проливом. Вы уверены, что она пойдет в этом году, учитывая, что за окном всего только январь?

– Да. Уверен, – Панюшкин сел на самый край кресла, чтобы не выглядеть лежащим.

– Отлично. В таком случае все упрощается – вам остается только убедительно объяснить, что именно произошло.

– Тайфун! Тайфун произошел! – сорвался Панюшкин.

– Вам придется доказать правильность технических решений, организации работ, использования техники, рабочей силы и, разумеется, средств. А нам предстоит сделать вывод о целесообразности вашего пребывания на должности начальника строительства.

– Вы говорите прямо как по писаному, – усмехнулся Па-

нюшкин.

– Это так и есть, я зачитал фразу из постановления бюро.

– Даже так... – Панюшкин с силой потер лицо большими ладонями. – Даже так... А не поступить ли нам проще – не подать ли мне заявление об уходе по собственному желанию?

– Вы это серьезно? – Мезенов откинулся на спинку стула и с удивлением взглянул на Панюшкина. – А если окажется, что сроки сорваны именно по вашей вине? Или вы заранее признаете это? Объяснитесь, Николай Петрович.

Панюшкин понял, что совершил ошибку. Исподлобья взглянул на секретаря. Теперь в Мезенове не было боязни обидеть подозрением или недоверием, в его маленьких сухих глазах явственно чувствовалась настороженность. Ожидая ответа, он цепко осмотрел Панюшкина от головы с небогатыми остатками волос до тяжелых унт, выручавших начальника строительства не первую зиму.

– Прошу прощения, – сказал Панюшкин смущенно. – Просто я хотел узнать, насколько серьезна ситуация.

– Очень серьезна. К вам выезжает Комиссия. Четыре человека. Возможно, я буду пятым.

– А еще кто?

– В городе находится представитель министерства. Его фамилия Тюляфтин. Приглашен заведующий отделом промышленности областной газеты Ливнев. Он писал о вашей стройке. Разное писал, насколько мне помнится.

– Еще? – хмуро спросил Панюшкин.

– Чернухо. Он будет представлять заказчика.

– Знаю.

– Четвертый – Опульский.

– А это еще кто такой?

– Из областного профсоюза строителей.

– То есть проверка по всем фронтам?

– Да, и я честно об этом предупреждаю. Так что, Николай Петрович, готовьте не только техническую документацию. Комиссия будет интересоваться и многим другим.

– Полномочия Комиссии? – Панюшкин исподлобья смотрел на Мезенова потемневшими и будто еще глубже спрятавшимися глазами.

– Комиссия в выводах не ограничена.

– Вопрос о начальнике строительства уже решен?

– Никакого решения не принято ни в одной инстанции.

Более того, к вам везде относятся благожелательно. Во всяком случае, вопрос о вашей замене воспринимается с удивлением.

– Когда вы зададите им этот вопрос еще раз, удивления уже не будет! – резко сказал Панюшкин.

– Почему?

– Привыкнут. Вы, Олег Ильич, знаете не хуже меня, что часто бывает достаточно задать вопрос, усомниться... А дальше все пойдет само собой.

– Чтобы такого не случилось, создана Комиссия.

– Да! – крикнул Панюшкин и ткнул указательным пальцем в переносицу, как бы поправляя очки. Его рука уже готова была сорваться и с грохотом опуститься на стол, но стола, его привычного стола не было, и рука на какое-то мгновение беспомощно застыла в воздухе.

– Кстати, Николай Петрович, позвольте и мне задать вопрос – сколько вам лет?

– Вы полагаете, что этот вопрос будет кстати? Хм... Мне два года до пенсии. Я вас понял, Олег Ильич.

– Что вы поняли?

– А то понял, Олег Ильич, что помимо всего прочего мне придется доказывать свою способность руководить стройкой... невзирая на возраст.

С невырвавшимся вздохом Панюшкин поднялся, подошел к окну, и лицо его с глубокими складками у большого рта осветилось мерзлым светом зимнего дня. Он потрогал пальцами толстый слой инея на стекле, зябко передернул плечами и, набрав полную грудь воздуха, осторожно выдохнул его, чтобы секретарь, не дай бог, не подумал, что он вздыхает.

И вдруг словно невидимый вихрь налетел на него, он будто кружил где-то рядом, но вот ворвался в кабинет и наполнил его запахами, звуками, чувствами прошлого... Рыхлый весенний лед, залитый водой, прогибается под санями, из-под них проступает черная, весенняя вода Пролива, лошади

идут по колено в воде, и не знаешь – пошли они уже вглубь, в Пролив, или идут по льду. А вода бурлит под копытами хряпящих, изнемогающих, задыхающихся лошадей. И гудит в ушах ночной весенний ветер, и предсмертно хряпят лошади, и прогибается без хруста, мягко и влажно прогибается лед. . . И ты. Нет, это был не ты. Это было странное, мечущееся существо, какой-то черный сгусток, успевающий полоснуть лошадь кнутом, подтолкнуть сани и в это самое время, в эти же секунды, скользя по залитому водой льду, кричать что-то отставшим, ушедшим вперед, успевающий сбрасывать с саней подальше в сторону на прочный лед ящики с запчастями, мешки с мукой, связки валенок. А лед медленно оседает, проваливается, рвется под твоими ногами. . . Страх? Нет. Какой страх. . . Страх гнетет, унижает, в нем стыдно признаться даже самому себе, он оставляет опустошенность, обессиливает. А тут – освежающее, бодрящее чувство опасности!

И все исчезло. Нет Пролива, саней, скользящих под уклон, нет оглушающего клекота лопающихся воздушных пузырей. Осталось острое чувство опасности.

– Все правильно, Николай Петрович, – проговорил Мезенов. Его голос донесся до Панюшкина как бы издалека. – Вы должны были ожидать этого. Я уверен, что вы ждали чего-то подобного.

– Пожалуй.

– Думаю, Комиссия вам нужна больше, чем кому бы то ни было. Так что все правильно.

– В том-то и дело, что все правильно, в том-то и дело... Ну что ж, милости прошу, дорогой Олег Ильич, милости прошу... Постараемся быть гостеприимными... насколько нам позволит положение подследственных.

– Кстати, о подследственных. Хорошо, что напомнили. Насколько мне известно, у вас недавно случилось нечто вроде чрезвычайного происшествия?

Чувствовалось, Мезенов задал этот вопрос через силу, прижав кулаки к холодному стеклу стола, чтобы не было заметно нервной дрожи в руках. «Не всем, видно, власть здоровья прибавляет, – подумал Панюшкин. – Одни сияют, как ухоженные самовары, будто всем и навсегда доказали какую-то свою правоту, а другие вот казнятся, фразы из протоколов зачитывают, чтоб не сбиться и проговорить все, что намечено... Ну ничего, освоится. Хватка есть, собой владеет».

– О чем, собственно, вы? – наивно спросил Панюшкин, хотя сразу понял, в чем дело.

– Как же, а эта... драка, поножовщина, поиски преступника, в которых участвовал едва ли не весь строительный отряд...

– А! – Панюшкин небрежно махнул рукой. – Ерунда собачья. У вас, Олег Ильич, информация несколько большей концентрации, нежели это необходимо. Вашу информацию нельзя употреблять без предварительного разбавления, как спирт. «Поножовщина»! Слово-то какое нелюдское! «Поис-

ки преступника!»! Это же сказать надо! Тоже небось из какого-нибудь постановления фразочка? А? Или из докладной записки? Признавайтесь, Олег Ильич!

– Признаюсь, – улыбнулся секретарь. – Николай Петрович... С нами вместе вылетает следователь районной прокуратуры Белоконь. Он проведет расследование, как это и положено в подобных случаях.

– Вот, значит, как... – Панюшкин невольно осел в кресле и стал будто меньше, старше. Опять потер лицо крупными сухими ладонями. – Другими словами, еще один член Комиссии?

– Вольно или невольно, следствие будет как-то... соотноситься с выводами Комиссии.

– Интересно иногда получается, Олег Ильич... Тайфун пронесся, перемешал все, что можно перемешать, покуражился как хотел и умчался по своим непутевым делам. Нет его. В природе нашего Тайфуна уже нет. Казалось бы! Но на самом деле... О! – Панюшкин поднял указательный палец. – На самом деле он только набирает силу. Для людей, которые оказались под его влиянием. Он до сих пор бросается бочками и катерами, до сих пор вяжет трубы в узлы и корежит, корежит судьбы людские, тасует их планы, вмешивается в личную и общественную жизнь. И даже, – Панюшкин дурашливо понизил голос, – он вмешивается в деятельность нашего с вами уважаемого учреждения. До сих пор! Вот живучая тварь, а! Он ведь, дурак малахольный, в государствен-

ные дела нос сует! Поправки, шалопут, вносит! Может, он здесь с давних времен доисторических кем-то оставлен, а? Чтоб, значит, богатства природные беречь, а?

– Мне бы не хотелось, Николай Петрович, чтобы Комиссия стала еще одним тайфуном в вашей жизни, – улыбнулся Мезенов.

– Ха! Не получится! Знаете, как у нас говорят с некоторых пор? Двум тайфунам не бывать, а одного не миновать. Приезжайте! Встретим вас как самых дорогих гостей. Лучшую избу натопим, под самую веселую музыку спляшем.

– Шутите, Николай Петрович? – Мезенов был явно озадачен странным оживлением Панюшкина, тем более что видел – тот искренне развеселился к концу разговора.

– Ничуть! Для меня, Олег Ильич, вы действительно будете желанным гостем. Да и как мне не радоваться вам, если вы приезжаете со столь благородной целью – снять с меня подозрения, сомнения, которыми переполнены бумаги на вашем столе! Мне ли не знать собственных промашек, Олег Ильич! Мне ли не знать о той взрывной силе, которую таят в себе самые невинные оплошности, простительные слабости. Не говоря уже о недостатках.

– А они тоже есть?

– Только что вы сами имели возможность убедиться в этом, – Панюшкин вздохнул и вместе с воздухом словно бы вытолкнул из себя оживленность, которая только что светила на его лице. – Меня можно назвать вздорным и ка-

призным стариком. Есть для этого основания. Другие предпочитают выражаться более жестко: слабый, уставший старик. Слышал я и снисходительно-жалостливое определение – специалист вчерашнего дня.

– Что же ближе всего к истине? – спросил Мезенов, стараясь говорить доброжелательнее, шутливее, чтобы Панюшкин не решил, что вопрос этот задан слишком уж всерьез.

– Вы лучше спросите, что дальше всего от истины! – Панюшкин дерзко улыбнулся в лицо секретарю. – Каждый подбирает для ближнего оценки, которые более всего оправдывают его самого. В зависимости от того, кто как меня называет, кто как относится ко мне, я могу почти безошибочно узнать, каким он предстает в собственных глазах, за что себя ценит и вообще какие у него отношения с самим собой. Это помогает найти болевые точки человека.

– А зачем вам знать болевые точки человека?

– Чтобы не обидеть невзначай, не сделать оплошность. И потом, понимать человека – это важно и полезно в любом случае, чтобы знать, с кем имеешь дело, кто находится в данный момент перед тобой.

Мезенов передвинул бумаги на столе, с подчеркнутым вниманием посмотрел на календарь и наконец решился взглянуть Панюшкину в глаза.

– И вы можете сказать, кто в данный момент находится перед вами?

– Конечно! – отчаянно сказал Панюшкин.

– Интересно было бы знать, за что, по вашему мнению, я уважаю себя, где мои болевые точки, – несколько нервно усмехнулся Мезенов.

– Нет, Олег Ильич! Не толкайте меня на преступление. Я не стану вмешиваться в ваши отношения с самим собой. Думаю, они сложны и неоднозначны. Что бы я ни сказал, это будет ошибкой с моей стороны. Мое одобрение вам не нужно, оно может прозвучать двусмысленно. Усомниться в вас было с моей стороны вообще хамством.

– А вы дипломат, Николай Петрович! – воскликнул Мезенов с облегчением.

– Вертимся! – засмеялся Панюшкин, поднимаясь из низкого податливого кресла. – Суть моего положения, Олег Ильич, заключается в том, что воевать мне придется не с фактами – с ними не повоюешь. Воевать придется с ярлыками, формулировками, оценками...

– Как и всем нам, – обронил Мезенов. – Если вас не устроят наши оценки и формулировки, обращайтесь за помощью к фактам. Они не подведут. Постарайтесь привлечь их на свою сторону.

– Спасибо! – хмыкнул Панюшкин. – Очень дельный совет. Обязательно воспользуюсь. Времени, правда, маловато. Но у меня никогда не было его слишком много.

А на обратном пути в самолете Панюшкин подумает: наступит однажды тихий вечер, и ты, глядя в темное окно, слыша шелест листьев под дождем, дальний грохот подмосков-

ной электрички, поймешь вдруг, что все твои неудачи, успехи и поражения, вся каждодневная нервозность, усталость, пустые надежды – все это и есть твоя единственно возможная жизнь. Другой у тебя никогда не будет, да и этой все меньше.

* * *

Давным-давно на этих холмах уже была строительная площадка, да не такая, побольше – одних домов выстроили на десять тысяч человек. Жители Поселка до сих пор топили печи этими домами. Жить в них было некому, а вывозить – больно дорого. В том месте, где Остров от Материка отделяет какой-то десяток километров воды, хотели построить железнодорожный тоннель – уникальное сооружение в мировой практике. Провели исследования, составили проекты, подсчитали сметы. Предполагалось построить железнодорожную станцию, город, дорога должна была оживить глухое и унылое место, поезда с Транссибирской магистрали без перегрузок и паромов мчались бы прямо на Остров, которому отводилась счастливая участь стать жемчужиной Дальнего Востока. Нефть, уголь, лес, рыба, пушнина – все это в прекрасном качестве и в промышленном количестве.

До сих пор среди материковых сопок видны следы наклонного ствола, уходящего под Пролив. А на Острове маркшейдеры уже вбили в песчаный грунт колышек, нашли точ-

ку, где ствол вынырнет на поверхность. Не одно романтическое сердце дрогнуло в предвкушении того исторического момента, когда поезд, разорвав красную ленту, вырвется из-под Пролива и огласит пустынные окрестности торжествующим гудком, никогда не слышанным на этих берегах.

Но времена переменились. С тоннелем решили повременить. О стройке постепенно забыли, и местные жители, не мудрствуя лукаво, потихоньку растаскивали Поселок, вернее, то, что от него осталось, – разрушенные ураганами дома. Только большая, несуразная, покосившаяся изба и осталась с тех времен – она стояла недалеко от берега, и разбирать ее на дрова было хлопотно. Зачем, если есть дома и поближе... Эту избу и облюбовали руководители экспедиционного отряда под контору.

И вот уже два года по дну Пролива строители укладывали трубопровод, который бы доставил нефть с северной части Острова к материковым перерабатывающим заводам. Нефть здесь была едва ли не лучшая в стране, и местные патриоты взахлеб рассказывали, что японцы предпочитали покупать тонну островной нефти, чем за те же деньги три тонны любой другой. А Николай Петрович Панюшкин был начальником экспедиционного отряда подводно-технических работ, который и строил этот самый трубопровод.

Поселок из нескольких изб, отделенный от ближайшего жилья сотнями километров болот, тайги, покатых северных сопок, являл собой нечто вроде маленького государства, у

которого была одна цель – проложить трубопровод. Но если у настоящих государств есть свои силы внутреннего порядка, органы управления, то здесь все лежало на сутулых плечах начальника строительства. Он подписывал расписания работы столовой и магазина, выдавал разрешения для поездки на Материк, определял меры наказания, поощрения, собственной подписью и печатью стройки скреплял браки и узаконивал разводы. И что бы ни произошло в Поселке – родился ли кто, умер, пропал, запил, украл, собрался удрать, угробил или спас технику, – первым, кто обо всем должен знать, помнить и принимать решения, был опять же Николай Петрович Панюшкин.

Весь отряд в самый разгар летних работ не превышал ста пятидесяти человек. А зимой не оставалось и половины. Водилазы, механики, газосварщики, водители тягачей и вездеходов, разнорабочие – всех понемногу. Собственно, стройка и состояла из этих разношерстных бригад, из флотилии барж, катеров, из звонков на Большую землю, из хлопот, связанных с обеспечением не больно многочисленного воинства питанием, одеждой, топливом и прочими предметами первой, да и не только первой необходимости.

Непрекращающиеся заботы, удаленность, оторванность стройки от баз снабжения выработали у Панюшкина постоянное ожидание неприятностей – бурана, поломки оборудования, задержки самолета, несчастного случая, собственного недомогания. Передраги иногда казались ему живыми су-

ществами, питающимися его временем, его энергией. Когда слабел он, слабели и они, чем лучше он себя чувствовал, тем сильнее и агрессивнее были зловредные существа. Они подстергали его в телефонном звонке, ухмылялись между строк телеграммы, корчили рожи в тумане, выплясывали на льду вокруг проваливающегося трактора. И постепенно приподнялись, ссутулились его плечи, будто он прятал голову от удара, выработались быстрая походка, пристальный взгляд исподлобья. Панюшкин настораживался, получив письмо, услышав стук в дверь, оклик в коридоре или на улице. Повизгивающие существа роем носились за ним, не оставляя ни на минуту, их голоса слышались ему в скрипе песка под ногами, в вое бурана, плеске волн.

А вечером, едва успев прилечь на узкую койку, Панюшкин тут же засыпал, будто проваливался в завтрашний день. Сон был для него чем-то вроде заколдованного колодца, в который он падал, зная, что на дне его ждет утро, ждут новые силы и заботы. И изголодавшиеся за ночь существа, готовые наброситься, едва он откроет глаза.

...Пролетая ранним утром над Поселком, можно заметить разве что несколько слабых лампочек, словно сжавшихся от мороза. Одна горела у конторки строителей, одна – над замерзшим причалом, несколько лампочек светились на пограничной заставе. Граненая башенка маяка, выделяющаяся среди деревянных изб, постепенно светлела и из тускло-голубой становилась розовой. А когда холодное солнце

выглядывало из-за снежных холмов, она вспыхивала и делалась красной, будто раскалялась. Но избы оставались такими же черными и хмурыми, чем-то напоминая небритые, угрюмые физиономии. Лампочки бледнели на фоне светлеющего неба, но едва на них падали солнечные лучи, они зловеще и радостно вспыхивали красноватыми бликами. И только тогда за ледяными торосами Пролива, в десятке километров, показывалось сероватое расплывчатое пятно. Оно быстро наливалось тяжестью и словно загустевало. Это был Материк. Его лохматая масса подбиралась, сжималась, и наконец появлялась четкая граница, отделяющая небо от земли. Потом на берегу возникали маленькие, почти нереальные домики поселочка, дорога, уходящая в сопки, тощая вышка пограничников, застывшие до лета фермы кранов в порту.

Когда-то Остров и Материк в этом месте, видно, смыкались, но теперь только два мыса торчали напротив друг друга, как две протянутые руки. Впрочем, увидеть их можно только на карте или с самолета. Отсюда, с Острова, видна лишь пологая, тающая в морозной дымке полоска заснеженной земли у самого горизонта. По этим снегам, по этому льду бежали когда-то бродяги с островной каторги. Как раз под их звериной тропой и должен быть уложен трубопровод.

Панюшкин проснулся и тут же, не открывая глаз, не меняя позы, подумал о том, что заму по снабжению Хромову нужно не забыть наказать завезти дров и натопить промерзшую избу на окраине Поселка – для членов Комиссии. Пусть живут

в тепле и уюте, пусть ничто не мешает им добросовестно и с сознанием ответственности выполнить свои обязанности, отмеченные печатью высокой государственной важности.

Он прекрасно знал, как решаются производственные споры и неурядицы, знал мотивы, которыми руководствуются, чего опасаются, чем пренебрегают. Панюшкин был старым, прожженным строительным волком. Что предложит Комиссия, которая, к примеру, найдет порядок в делах, грамотность технического руководства, оперативность инженерной службы? Что она предложит? Оставить все как есть?

Плясать Комиссия будет от десяти израсходованных миллионов, от двух прошедших лет. Ну, решит она, допустим, что необходимо усилить техническую оснащенность. Но ведь именно этого и мы требуем. Посоветует она, например, улучшить первоначальный проект, приблизить его к местным условиям. Мы это уже сделали. Что еще придумает Комиссия, пораскинув умишком? Укомплектовать бригады? До наступления лета это попросту невозможно. Рабочих из Москвы нам никто завозить не будет, а местные сезонники потому и называются сезонниками, что предпочитают работать в самый благоприятный период – лето, сентябрь, часть октября. Что еще? Сменить инженерную службу, оставив начальника? Смешно. Получается, что все вроде бы шагают не в ногу, а он один в ногу. Умный потому что очень...

Нет, Коля, не твое это дело – подталкивать Комиссию к выгодному тебе заключению. Печь для них протопи, кор-

между организуй, на вопросы ответь, ежели таковые будут... А хлопотуном ты никогда не был, да и поздно осваивать эту смежную специальность. В чем же тогда задача?

– Задача в том, чтобы закончить работу, – вслух проговорил Панюшкин. – И я ее закончу. Я, а никто другой! Такова моя блажь, мое честолюбие, тщеславие или как вы там это называете! Закончу! – повторил он еще раз, зло глядя куда-то в угол широко открытыми глазами, будто видел там заклятого врага, который мешал ему и злорадничал. Невидимый, неуловимый враг жил в нем самом, вызывая неуверенность, колебания, слабость, – возраст. Но повадки этого врага он хорошо знал, как и то, что немного в стране найдется специалистов по подводным сооружениям, которые могут потягаться с ним. Это грело душу и давало какую-никакую, а все же надежду.

...Сунув босые ноги в остывшие за ночь валенки, сбросив куртку, Панюшкин засеменил во двор за дровами. Но, едва выйдя на порог, остановился. Сквозь заснеженные ветви ели в глаза ему брызнули лучи восходящего солнца. Весь двор был залит слепящим розовым светом, а тени от сарая, деревьев, частокола забора казались синими. Над торосами Пролива клубился розовый туман, и сквозь него слабо просвечивали зябкие холмы Материка.

Панюшкин замер, боясь шевельнуться, сделать неосторожное движение и упустить этот щемяще острый миг счастья, затерять его в суетных мыслях и заботах. На него на-

хлынуло что-то очень далекое, напрочь забытое, что было едва ли не тысячу лет назад, когда он каждое утро просыпался с таким вот сильным предчувствием счастья, с готовностью все увидеть вокруг себя, понять, восхититься и навсегда запомнить. Что это было? Молодость? Необозримость предстоящей жизни? Конечно, Панюшкин понимал, что конец придет, но он был так далек, и еще столько всего произойдет, пока он приблизится, что его можно было попросту не брать в расчет. Как оледенение, которое, говорят, наступит через миллион лет.

Сейчас все изменилось. Панюшкина не отпускало ощущение уходящего времени, он все чаще вспоминал песочные часы, виденные им когда-то в институтском кабинете физики. Вначале песок уходит медленно, он почти не уменьшается в верхней чаше. Но чем меньше его остается, тем быстрее он убывает, песок течет уже так стремительно, что ты, кажется, слышишь его скрежет о стекло, чувствуешь, что он не просто сыплется, а прет вниз, будто кто-то с силой выдувает оставшиеся песчинки... Примерно то же происходило с Панюшкиным – отмеренное ему для жизни время убывало ошарашивающе быстро.

Сбежав по ступенькам, Панюшкин набрал у сарая охапку звонких, сверкающих инеем поленьев. Они пахли морозом, свежим срезом дерева, шершавой корой, смолой – они пахли этими местами. Да, если придется ему когда-нибудь почувствовать этот запах, он наверняка вспомнит морозное утро,

розовую дымку над Проливом, себя самого, продрогшего и счастливого, вспомнит тишину, наполненную звуками, которые лишь подчеркивали эту тишину, – крик петуха в Поселке, далекие голоса на пограничной заставе, слабый рокот самолета над Проливом. Он потерся щекой о столбик крыльца и услышал слабый звон щетины. И засмеялся, подумав, что похож на старого кота, который трется изрубцованной мордой о ножку стола.

Пока грелась вода, Панюшкин побрился, не переставая думать о Комиссии. Даже нет, он не думал о ней, он только помнил, все время помнил, что сегодня приезжает Комиссия, может быть, самая важная, самая опасная из всех, перед которыми он отчитывался в своей жизни.

Потом он принялся готовить чай. Перво-наперво ошпарил кипятком большую керамическую кружку, сыпанул на дно щедрую щепоть чая. Накрыв кружку меховой шапкой, подождал, пока чай прогреется в горячем пару, залил его кипятком. И улыбнулся довольно, представив, как кипяток насыщается чайным духом, цветом, его крепостью, бодростью. Когда Панюшкин открыл кружку, прохладная комната наполнилась знакомым терпким запахом. Пил неторопливо, громко прихлебывая, лаская взглядом бок кружки, поднимающийся пар, солнечный зайчик на столе. И словно бы сами собой, помимо его воли складывались строчки отчета, который ему необходимо было написать для Комиссии. Именно с отчета начнется ее работа. Каждая строка, каждое положе-

ние будет изучено, прощупано, состыковано с другими положениями, доводами, выводами, и не дай бог, если обнаружится натяжка, если в его позиции наметится слабинка. Да что там слабинка, даже неожиданное слово может показаться ошибочным, резкий довод, глядишь, будет восприниматься вызовом, а слишком краткое описание – попыткой умолчать о чем-то существенном...

К маленькому письменному столу, сколоченному местным столяром, Панюшкин подошел осторожно, мягко. И ручку, старомодную ручку со стальным пером, он взял не без колебаний, и первые строчки отчета писал медленно, проговаривая каждое слово, присматриваясь к нему, словно испытывая на надежность, на верность. Может быть, Панюшкин не столько знал, сколько чувствовал, что есть слова-изменники. Втершись в доверие, вкравшись в текст, они поначалу прикидываются своими, готовы взять на себя ответственность, нагрузку, громче других кричат о себе, о своей преданности, о своей правильности и безупречности, но стоит присмотреться к ним повнимательнее, вдуматься в их значение, и начинаешь понимать, что они разрушают твои доводы, выдают твои слабые места, раскрывают твои тайны, ставят под сомнение даже самые лучшие и честные твои слова... Чаще всего такие слова бывают наполнены якобы значительным содержанием, возвышенными чувствами, они красиво звучат и смотрятся, но Панюшкин не верил им, за их напыщенностью он видел холодность и пустоту. Он вычеркивал

их безжалостно, даже если это и оголяло его позицию, его мысль, делало ее простоватой, очевидной. Простоватости он не боялся, а к очевидности стремился...

«...Работы по строительству подводного переходного нефтепровода выполнялись в строгом соответствии с проектом. За летние месяцы уложено 2506 метров труб в фарватерной части Пролива. Для выполнения этих работ отряд оснащен самоходными водолазными ботами, буксирными теплоходами, катамаранами, плашкоутами с установленными на них якорями, лебедками, электростанциями, грузоподъемными и гидромониторными механизмами. От Амурского речного пароходства получены в аренду буксирный теплоход и баржа-площадка, оборудованная тягловой лебедкой и трубоукладчиком. К завершающему этапу строительства, намеченному на октябрь, была закончена оснастка всех плавсредств, закреплена на якорях баржа-площадка, проведены другие организационно-технические мероприятия. Все было подготовлено к тому, чтобы закончить укладку трубопровода методом протаскивания по дну с западного, материкового берега Пролива и, таким образом, уложиться в предусмотренные проектом сроки. Однако...»

Панюшкин некоторое время смотрел на тронутое ржавчиной стальное перо, ощущая знакомый еще со школы запах фиолетовых чернил, потом медленно положил ручку и опустил лицо в большие жесткие ладони...

Ветер начался еще днем, а к ночи достиг ураганной силы. Панюшкин на слух определял его опасность и с тревогой вслушивался в звон оконных стекол. Ветер нашел невидимую щель, и все окно превратилось в сирену, жутковато завывающую при каждом порыве. Потом что-то глухо загремело во дворе. Выглянув в окно, Панюшкин увидел, что запасы дров, сложенные у забора, попросту исчезли, а в стороне, над крышей развороченного, будто раздавленного чьей-то громадной ногой сарая, бились на ветру надорванные листы железа.

Панюшкин бросился к телефону, чтобы позвонить в порт, на погранзаставу, в контору, но телефон не работал. Где-то оборвались провода. А когда он, уже одетый, направился к выходу, по стенам комнаты колыхнулись красноватые тени – в Поселке не проходило, наверно, ни одного тайфуна без пожара. Ветер раздувал малейшую искру, превращая печи в какие-то адские горнила, в которых дрова даже не успевали стгорать на колосниках – горящие щепки выносило в трубу. Маленькими пылающими факелами летели они, поджигая все, что могло гореть. Выйти Панюшкину удалось не сразу – наружная дверь была намертво вдавлена в раму, она вздрагивала под напором ветра, будто кто-то громадный и неуклюжий, озлобясь, бил в нее кулаками. Но когда Панюшкину удалось чуть приоткрыть дверь, ее тут же рвануло из рук, и она, косо развернувшись, забила на оборванных петлях. Панюшкин, не удержавшись, вывалился на ступеньки.

Горело где-то у ремонтных мастерских. Даже с расстояния двух километров были видны летящие по воздуху, вырванные ураганом доски. Охваченные огнем, они проносились над головами людей, как зажигательные снаряды. У догорающего дома Панюшкина чуть не сшибла громыхающая железная бочка, над головой неслось дымящееся тряпье, листы фанеры и железа, а огонь уже прилип к крыше соседнего дома...

Вот тогда Панюшкин услышал глухой грохот Пролива. И сразу понял, что все происходящее на берегу – пустяки. Ну, не оставит Тайфун ни одного дерева, сорвет крыши у домов, унесет заборы, ну, сожжет несколько домов, пусть даже десятков, – все это ерунда собачья. И ремонт бульдозеров, тягачей и прочей поврежденной техники тоже ерунда собачья. Главное – на Проливе, среди взбесившихся волн, которые еще несколько часов назад сонно лизали прибрежный песок. Там, среди месива из воды, песка, спрессованного воздуха, осталась маленькая флотилия, а на дне – слабый, уязвимый, еще не уложенный в траншею трубопровод.

И пронеслись в голове Панюшкина не то фразы будущего отчета, не то отголоски прошлых разговоров, приказов... «Плеть труб под водой беспомощна... Нет продольной устойчивости... Плотность воды резко возрастает... Расчеты не отражают положения вещей... При урагане воздух, насыщенный песком, превращается в наждак... Взбудораженная вода перемалывает, как бетономешалка...»

Все, что делал Панюшкин в течение той сотни часов, он делал скорбно и энергично, будто занимался чьими-то похоронами. Он посылал запросы в порт, комплектовал спасательные отряды, распределял аварийный запас продуктов, по радио докладывал обстановку в район, но все его надежды и опасения были на Проливе. Когда через несколько дней с командой водолазов он вышел на боте в бурный еще Пролив, презрев все инструкции, приказал надеть на себя водолазные доспехи и соскользнул в мутные волны, и почти в полной темноте, сдавленный холодной осенней водой, коснулся ногами дна, Панюшкин не знал размеров катастрофы. На дне он увидел немного, все силы уходили на то, чтобы удержаться на ногах. Трубопровод лежал на дне безвольно, какдохлое чудовище. Его изогнутое брюхо скрывалось в темноте. Сделав несколько шагов, Панюшкин окончательно убедился, что труба отброшена в сторону от трассы. Он прикинул радиус изгиба, длину уходящего в темноту отрезка трубы и расслабился. Его тут же подхватило течением. Панюшкин и не пытался встать на ноги, ожидая, пока натянется трос, соединяющий его с ботом. Он почти спокойно наблюдал, как хлопочут вокруг него люди, отсоединяют шланги, свинчивают круглый колпак...

– Ну что, Николай Петрович? – не выдержал главный инженер Званцев. – Что там?

– Радиус естественного прогиба, – размеренно ответил Панюшкин без выражения. – По новой, ребята, все по но-

вой. Кончилось опускание труб. Теперь будем вытаскивать. Резать на куски и вытаскивать, резать и вытаскивать, резать и вытаскивать...

...А когда уже в сумерках водолазный бот шел к берегу, а Панюшкин стоял у борта, ухватившись за мокрые железные поручни, вдруг будто порыв молодого и упругого ветра налетел на него и забросил за тридцать лет отсюда, за десять тысяч километров, на маленькую булыжную площадь, залитую осенним дождем, усыпанную листьями. В тот поздний час на площади был только один человек – он, Колька Панюшкин, маленький, тощий, мокрый насквозь и насквозь несчастный. Вот он подходит к телефону и набирает номер, который набирал в этот вечер, наверно, не меньше десятка раз. Прижав к уху мокрую железную трубку автомата, слушает долгие безответные гудки. И не было тогда в мире ничего печальнее этих длинных гудков, похожих на ночные крики паровозов. С тех пор пройдет еще много лет, от него будут уходить друзья, и будут приходить к нему друзья, его будут снимать с высоких должностей, назначать на высокие должности, но никогда, может быть даже в миг смерти, он не будет таким Несчастливым, как в тот вечер.

А трубку так и не подняли, хотя в доме, куда он звонил, было много людей, было весело и безалаберно и все знали, кто звонит. В тот вечер одна девушка выходила замуж. Не свадьба, нет, просто в тот вечер все решалось. Колька стоял у автомата, слушал гудки, и дождь стекал по его лицу. Точь-

в-точь как сейчас. Но если тогда в нем не утихали проклятия на день и час, когда он встретил эту девушку, самые страшные проклятия, которые только приходили на ум, то через десять лет он смиренно благодарил судьбу за то, что встретился с ней. Да, прошло больше десяти лет, прежде чем Панюшкин назвал тот вечер самым счастливым в своей жизни. Он закалил его навсегда. Ни одно несчастье не могло сравниться с тем горем, и ничто не вызывало в нем столько надежд и опасений, как безответные гудки из холодной, прикованной цепью трубки.

– Так ли уж важно, что именно со мной произошло, – сказал как-то Панюшкин самому себе. – Важно то, чем все кончилось, к какому выводу я пришел, что решили люди, от которых зависит моя судьба. И вообще, куда интереснее, что подумал человек, в чем разочаровался, в чем уверился, нежели самые забавные его Приключения.

Панюшкин бежал по льду мелкими шажками, поминутно взглядывая вверх, спотыкался, поправляя налезавшую на глаза шапку, оглядывался назад, поторапливая главного инженера Званцева, зама по снабжению Хромова и главного механика Жмакина. И снова смотрел вверх, в слепящее, сверкающее изморозью синее небо, находил крылатый силуэт и, чуть изменив направление, бежал, не замечая высеченных морозом слез.

Нет, не было в его столь несолидном беге подобострастия перед людьми, которые, наверно, с любопытством разглядывали сверху маленькую, неуклюжую фигурку начальника, не было и желания во что бы то ни стало встретить их у трапа, чтобы засвидетельствовать почтение. Было другое – неосознанный восторг, который бывает у людей, привыкших жить в снежных, ледяных, каменных, песчаных и прочих пустынях, восторг перед одним только видом снижающегося самолета. За этим суетливым и, чего уж там, в чем-то даже унижительным бегом стояли годы и годы, когда самым большим событием недели, месяца, сезона оказывалось прибытие такого вот самолетика с болтающимися тросиками, проволочками, с заштопанными крыльями, надтреснутыми стеклами и колесами, которые в прошлый рейс установили в местной мехмастерской. Прибытие самолетика – это новые люди, отъезд тех, к которым прикипел душой, это почта, избавление от тревог, новые тревоги, вести из большого мира, о котором стал забывать настолько, что нет-нет да и задашься вопросом: а есть ли вообще на Земле еще где-нибудь люди, или давно уже планета несется в пространстве, имея на своем борту только их маленький Поселок?

Свита Панюшкина состояла из людей крупнее его, массивнее. Званцев был на голову выше начальника и в темных очках казался нездешним, чужаком. Жмакин хотя и был пониже главного инженера, но выглядел массивнее и значительнее. Зам по снабжению Хромов казался грузным, даже

рыхлым. Шел он неохотно, будто выполнял постыльную повинность, – сунув руки в карманы и брезгливо отвернув в сторону большое, красное от мороза лицо. Они далеко отстали от Панюшкина, но ни разу не прибавили шагу. Званцев нарочитой неторопливостью словно бы заранее извинялся перед членами Комиссии за нестепенность начальства. А Хромов вроде все время раздумывал – не повернуть ли обратно? Но берег был уже дальше взлетной полосы, и Хромов неохотно тянулся вслед за всеми, каменно выпрямившись, ухом вперед, не лицом, а именно ухом. Жмакин шагал спокойно и размеренно, просто потому, что иначе не мог и не считал нужным. Надо встречать гостей? Пойдем встречать. И снег под его ногами скрипел яростно и ритмично.

Тень идущего на посадку самолета неожиданно накрыла всех троих, и они, словно почувствовав на себе взгляды, вразнобой помахали руками. Сделав круг над стройкой, над Проливом, самолет резко пошел на посадку, коснулся лыжами утоптанного снега, пронесся по полосе и остановился в нескольких метрах от Панюшкина, обдав его снежной пылью. Когда осела пыль и замер мотор, помощники стояли рядом с Панюшкиным.

– Ну что они там, мороза боятся? – нетерпеливо сказал Званцев. – Или передумали? Может, так и улетят?

– Дверь примерзла, – подсказал Жмакин. – Запор прихватило.

А Хромов все смотрел в сторону Поселка, будто ждал от

кого-то сигнала, прятал лицо и ворчал в том смысле, что, мол, уж если прилетели, то никуда не денутся, околели они там от холода, вот и сидят, разогнуться не могут.

Наконец в самолете послышалось какое-то движение, глухие удары, дверь шевельнулась и вдруг провалилась внутрь. Раздались оживленные голоса, в полумраке самолета показались ярко освещенные солнцем лица. Слепящий свет дня вынуждал всех прыгать на лед чуть ли не с закрытыми глазами.

– Приехали, значит, – сказал Панюшкин, широко улыбаясь. – Ну-ну... Добро пожаловать. Надеюсь, вам здесь понравится и вы с пользой проведете время. Надеюсь, результаты вашей работы не замедлят сказаться.

– Кончай язвить, Николашка! – тонко крикнул маленький толстый человек в черной шубе мехом наружу. Подскочив к Панюшкину, он вытащил розовую ладошку из рукавицы, сжал ее в кулак и покрутил перед самым носом начальника стройки. – Ну, попался ты, Николашка, ну, попался! Вот ты где у меня, понял? Ох и покрутишься, ох покрутишься, мать твою за ногу! – Он закрыл глаза и покачал головой, будто сам ужаснулся положению, в котором оказался Панюшкин. – Мы тебя, волка старого, всем скопом так отфлажкуем – взвоешь!

Это был Чернухо. Главный специалист заказчика, единственный человек из всей Комиссии, которого Панюшкин опасался всерьез.

– Кого вы привезли, Олег Ильич! – воскликнул Панюш-

кин, пожимая руку Мезену. – Ведь это же злобный человек! Он жаждет крови! Он загрызет меня из любопытства!

– По-моему, он просто проголодался. Всю дорогу говорил только об оленине.

– Нет, Николашка, олениной не откупишься! Тайменя на стол! Тайменя!

– Знаю, придется тебя и рыбкой угостить, чревоугодника старого... Вон разнесло как!

– А вот, Николай Петрович, познакомьтесь, пожалуйста, – Мезенов легонько подтолкнул к Панюшкину еще одного члена Комиссии – Это Тюляфтин. Представитель министерства. Очень грамотный специалист и, как мне кажется, прекрасный человек.

– Здравствуйте, – изысканно-тощий Тюляфтин вежливо поклонился.

– Ну что ж, очень приятно, – Панюшкин с удивлением ощутил в руке узкую влажную ладошку, которая лишь слегка шевельнулась и замерла в ожидании, пока ее отпустят. «Прямо-таки лягушачья лапка», – подумал Панюшкин. Еще раз взглянув на Тюляфтина, он увидел его молодость, взволнованность Севером, самолетом, этим вот не совсем обычным перелетом и несостоятельность. «Во! – воскликнул про себя Панюшкин, обрадовавшись тому, что нашел нужное слово. – Несостоятельность». – Первый раз на Севере? – спросил Панюшкин.

– Да, и вы знаете, – это потрясающе! Я вообще-то ехал

сюда с опаской... Все-таки экипировка у меня не рассчитана на районы, весьма удаленные от Белокаменной... Но вот Олег Ильич маленько выручил, обул... Как-то все у вас здесь необычно... Край земли... Новый год, наверно, встречаете, когда мы еще на работе сидим...

– Ну, насколько мне известно, тридцать первого декабря в нашем министерстве сидят отнюдь не за рабочими столами! – засмеялся Панюшкин.

– Не скажите! Я вот недавно был в Средней Азии... Там тоже... Но это! У меня нет слов! Вы счастливый человек, Николай Петрович!

– Меняемся? – быстро спросил Панюшкин.

– Чем? – не понял Тюляфтин.

– Вы становитесь начальником строительства, а я перехожу в члены Комиссии? Идет?

– Заюлил, Николашка! – радостно закричал Чернухо. – Заюлил!

– Моя фамилия – Опульский, а зовут – Александр Алексеевич, – подошел высокий суховатый человек средних лет. – Я буду представлять здесь, с вашего позволения, областные профсоюзы.

– Ничего не имею против, – Панюшкин с интересом посмотрел в маленькие, острые глазки Опульского.

– Как вы понимаете, меня в основном будут интересовать условия жизни рабочих, их быт, если можно так выразиться, времяпрепровождение. Вы должны согласиться, что эти

факторы, если их можно так назвать... – Опульский с достоинством откашлялся.

– Можно.

– Думаю, не ошибусь, если скажу, что эти факторы в меньшей степени влияют и на сроки сооружения нефтепровода, и на его качество, и на многое другое... нежели факторы производственные. Я имею в виду сознательность коллектива, его готовность к выполнению сложных задач в сложных условиях...

Чернухо подошел и замер, вслушиваясь в слова Опульского, даже рот приоткрыл, пораженный.

– Поэтому должен вам сказать, – продолжал Опульский, – что не считаю свое присутствие здесь лишним...

– Ради бога! – успел вставить Панюшкин.

– Несмотря на то что весьма слабо разбираюсь в технических проблемах сооружения трубопровода. Между тем мне неоднократно...

– Николашка! – взвизгнул Чернухо, потеряв терпение. – Где тут у вас ближайшая прорубь? Нужно немедленно ткнуть туда этого типа, чтобы мозги ему промыть студеной северной водой, растуды его туды! А я-то по простоте душевной все думал – чего он в самолете молчит? Я ему анекдот, я ему рюмочку, а он, знай, молчит! Речь, оказывается, сочинял! Это же надо! И ведь сочинил! А?!

– Что-то вы все озоруете, – Опульский сдержанно кашлянул и отошел в сторону.

– На волю потому что выбрался! Где мой кабинет? Нет моего кабинета! Где мой канцелярский стол, мой громадный канцелярский стол, заваленный бумагами, Николашкиными жалобами, проектами, сметами и прочей дребеденью, где он? Нет его! По сторонам оглянись, Александр Алексеевич! Солнце сияет! Раздолье бескрайнее! Снег!

– Об этом уже кто-то говорил, – сдержанно улыбнулся Тюляфтин. – Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег, как вы помните, лежит.

– А! – небрежно махнул рукой Чернухо. – Терпеть не могу цитат. Скажите пожалуйста – великолепными коврами! Какие, к черту, ковры? Где вы видите эти ковры? Ковер – он мягкий, теплый... А здесь торосы, как ножи, торчат!

– Ну а вас я немного знаю, – Панюшкин подошел к человеку, который улыбался, слушая лепет Тюляфтина, словесную вязь Опульского, был в полном восторге от воплей Чернухо и вообще чувствовал себя легко и уверенно. У него на лице все было вроде крупновато – мощный нос, крупные губы, а что касается зубов, то они были из тех, которые принято называть лошадиными. И улыбка получалась большая, зубастая, сразу не поймешь – улыбается человек или скалится. А в общем, это был довольно красивый парень лет тридцати. – Вы уже приезжали к нам летом и дали, помнится, репортаж в газете. Специалисты, правда, немного ворчали, неточности им поперек горла стали, ну а в целом выступление нам даже помогло, кое-что из оборудования подбросили вне очереди.

Ваша фамилия Ливнев, верно?

– Совершенно верно, Николай Петрович! Я и есть Ливнев, и пусть кто-нибудь попробует доказать, что это не так!

– А есть желающие? – улыбнулся Панюшкин.

– Хотел бы я на них посмотреть! – мощно хохотнул Ливнев.

«Противник номер два, – спокойно подумал Панюшкин. – Ему нужен материал, или, как они выражаются, гвоздь. Я для него лишь повод выступить. И чем жестче будут выводы Комиссии, тем более принципиальная, нелицеприятная, гражданственная – какая еще? – статья у него получится. За ней он и приехал. Трудовых успехов у нас нет, писать очерки о передовых рабочих с отстающих строек не принято... Да, его цель – разгромная статья. Но если с Чернухо я могу спорить, надеяться на понимание, если для Чернухо имеет значение обоснованность технических решений, то Ливневу все это безразлично, как и моя судьба. Ему нужен материал. О, могу представить, какой острый запах жареного ощущает сейчас его столь выразительный, почти вороний нос! У него и должность ворона, он кружит надо мной, ждет добычи... Ну ничего, я пока еще живой».

– Вот за что я люблю Николая Петровича, – Ливнев гулко похлопал Панюшкина по спине, – с ним ухо держи востро! Он не дает расслабиться. Это боксер атакующего стиля. А, Николай Петрович?

– Нет. Я не боксер. Я дворняга.

– Во! Я что говорил! – восторженно крикнул Ливнев. – Нет, с ним не зевай! С таким человеком интересно работать.

– Поработаем, – тихо сказал Панюшкин.

– А я – Иван Иванович Белоконь, – перед Панюшкиным стоял улыбчивый человек в громадной мохнатой шапке. Где-то в глубине меха розовели щеки, светились глаза, сверкали молодые белые зубы.

– Очень приятно. А кого представляете вы?

– О, я представляю самую безобидную для вас организацию – районную прокуратуру. Честно скажу, я не разбираюсь ни в трубопроводах, ни в способах их укладки, и уже одно это, наверно, делает меня самым приятным гостем.

– Возможно, – усмехнулся Панюшкин. – Вас хотел встретить наш участковый, но маленько приболел.

– Ах ты, бедолага! – воскликнул Белоконь. – Ах ты, моя деточка! Говорил ведь я Михаиле: смотри, Михайло! Нет, не послушал. Но все члены при нем? Руки-ноги, пальцы-шмальцы?

– Все при нем, – заверил Панюшкин. – Завтра будет в форме. Шаповалов – человек безотказный. По-моему, он уже разносил повестки с утра. Но, думается, зря вы приехали. Чрезвычайное происшествие было, они у нас не редкость, а криминала – не обессудьте!

– Ничего, – бодро заверил Белоконь. – Вскрытие покажет. Я намерен вскрыть суть происшедших событий. Это поговорочка у нас такая – вскрытие покажет, – зубы Белоконя

сверкнули весело и опасно.

– Ну, знаете! Вы поосторожней со своими поговорочками! – засмеялся Мезенов. – С таким фольклором недолго человека и до инфаркта довести.

– Авось до этого не дойдет, – серьезно сказал Панюшкин и осмотрел всех приехавших. – Чтобы закончить церемонию представления, позвольте познакомить вас с нашими руководителями... Главный инженер, главный механик, главный снабженец. Все главные, ни к кому не подступись, все много о себе понимают. Вам придется встречаться с ними не один раз, задавать хитрые вопросы, выслушивать хитрые ответы... Все трое достаточно опытни и вполне смогут ублажить ваше любопытство.

Званцев улыбался, благожелательно смотрел в глаза каждому члену Комиссии, но легкая, почти незаметная снисходительность все-таки чувствовалась. Мол, простите нашего Панюшкина за шутовство, но такой уж он есть. Не поймешь – то ли шутит, то ли всерьез талдычит, но мы привыкли, привыкайте и вы. Старик он ничего, жить можно.

Хромов стоял отвернувшись, что-то мешало ему посмотреть и на Панюшкина, и на гостей. На лице его застыло, будто смерзлось, недовольство. Время от времени он вытирал слезившиеся на морозе глаза, вытирал резко, грубо, и непонятно было – слезы он вытирает или лицо разминает, стараясь приспособить его к обстановке.

А Жмакин был явно насторожен, напряженно слушал

каждого, иногда быстро взглядывал на Панюшкина, как бы сверяя с ним свои опасения.

– Прощу! – крикнул Панюшкин, выбросив руку в сторону скрытого холмами Поселка. – Прощу, товарищи дорогие, следовать за мной. Вас ждут великие дела! – Он еще что-то хотел добавить, по лицу его уже скользнула шалая ухмылка, но помешал Чернухо.

– Не зарывайся, Николашка, – тихо сказал он, взяв Панюшкина за локоть. – Не надо. Успокойся. А то расхотелся, понимаешь, как холодный самовар. Знаю твой хулиганский гонор, знаю, что ты тщеславен и обидчив, как девчонка, ожидающая принца. Молчи. Ты сегодня сказал предостаточно. Подержи язык в тепле. Хиханьки кончились возле самолета. Скорее всего, их больше не будет. Положение серьезное. Поэтому не надо пижониться, Коля. Чтобы поставить нас на место, ты готов пожертвовать чем угодно... Не надо. Конечно, это говорит о твоей неувыдаемости, о том, что ты молод духом, дерзок и горяч. Но не перегни палку. А то покажешься таким молодым, что даже незрелым. Люди подумают, что тебе рановато руководить такой стройкой. Усек?

Обогнав всех, Чернухо чуть ли не бегом покатился вперед – маленький, толстый и неуклюжий, как щенок, несказанно обрадованный тем, что его взяли на прогулку.

Панюшкин шел, спрятав руки в карманы и подняв воротник, от него старались не отставать Мезенов с Ливневым. Опульский рассказывал Белоконю какую-то нескончаемую

историю, тот слушал с немым изумлением, и непонятно было – удивляется ли он самой истории или тому, как плотно набит Опульский словами. Тюляфтин шагал один, вертел головой, и стекла его очков в тонкой золотой оправе сверкали растроганно и взволнованно. Замыкали шествие Званцев, Жмакин и Хромов.

– Слушай сюда, Володя, – сказал Жмакин. – А никак охмурил их наш Толыс, а? Смеются, шутят, вроде не снимать человека приехали, а вознаграждать.

– Не, Федя, не охмурил, – ответил Званцев. – Не тот случай. Он может их очаровать, может вить из них веревки, может смеяться с ними или над ними – все это ничего не значит. И Толыс это знает. И они это знают. Поэтому могут посмеяться, пошутить... Это говорит только о том, что они вежливые люди. И больше ни о чем.

У Панюшкина была кличка Толыс. Местные нивхи рассказывали, что в каждом море есть свой хозяин и зовут его Толыс. Ну а раз на всем Проливе хозяином они считали Панюшкина, то от этого прозвища ему было просто не уйти.

– Так, выходит, того... снимут? – опять спросил Жмакин. – Выходит, слухи не зря...

– Нет, не снимут! – недобро засмеялся Хромов. – Под зад коленом дадут. А если догонят, то еще раз дадут.

– А, Володя? – переспросил Жмакин, не обращая внимания на слова Хромова.

– Слухи, Федя, великая вещь! Они рождаются, живут и

умирают по своим законам, и мы не можем эти законы понять. Не дано. Да оно и к лучшему.

Жмакину не понравились слова главного инженера. Тот не ответил на его вопрос, а кроме того, в голосе Званцева ему послышалось пренебрежение. И сразу что-то злое, неуправляемое зашевелилось в нем, и он снова спросил, зная, что Званцеву будет неприятен его вопрос.

– Выходит, и ты считаешь, что снимут Толыса?

– На данный момент, Федя, я считаю, сколько шагов осталось до конторы. Околеваю. Знаешь, раньше я полагал, что зима как таковая кончается на десяти градусах мороза. Если мороз сильнее, значит, это уже не зима, а черт знает что. Пакость и мерзость. Прожив здесь два года, я изменил свои убеждения. Теперь я думаю, что зима кончается на двадцати пяти градусах. Если мороз сильнее – это издевательство над человеком. А сейчас под тридцать. И ты, Федя, тоже издеваешься, вопросами изводишь, зная, что ответить мне нечего. А знал бы, что ответить, все равно бы промолчал.

– Это что же, запретная тема?

– Тема не запретная, болтай на здоровье. Но только вот есть такой закон, открыть я его открыл, но не могу еще доказать математически, чтобы диссертацию оформить. В чем суть?.. Выйди на середину Пролива, так, чтобы вокруг на десять километров ни одной души не было живой, и вслух скажи что-нибудь такое, что другим знать не положено. Понимаешь? Так вот, завтра же об этом будут знать все, кого это

касается.

– Хватит болтать-то, – махнул рукой Жмакин. – Больно высоко взял... Я уж минут пять как перестал тебя понимать.

– Чего тут непонятного! – хмыкнул Хромов. – Под зад коленом дадут только одному.

– Ну и что?

– Эх, Федя! Место освобождается! Вакуум, как говорят ученые люди, вроде нашего главного инженера. Слово такое есть – вакуум. У! Серьезное слово! Наука! Сила! У! – Хромов смахнул слезы со щек и, насмешливо глядя в длинную спину Званцева, еще раз крикнул, будто собаку дразнил: – У!

– Каждый судит в меру своей испорченности, – сказал Званцев, не оборачиваясь.

– Да! – выкрикнул Хромов, отчего-то заволновавшись. – Да! А природа вакуума не терпит. Тут тебе и формулировка, тут тебе и математика. Свято место пусто не бывает.

– Ага, – проговорил Жмакин. – Вон ты куда гнешь. Дошло.

– Слава те господи! – засмеялся Хромов. Поднявшись на прибрежные холмы, они увидели, что Панюшкин уже стоит на крыльце конторы и, придерживая дверь, пропускает членов Комиссии.

* * *

За два года Панюшкин привык к своему кабинету, этой

небольшой комнатке с одним окошком, и не замечал ни ее шелушащихся стен, ни перекошенного пола, ни выпирающей дверцы печи, грозящей вывалиться в любую минуту, привык к высокому жесткому креслу. Еще в самом начале строительства он облюбовал эту громадную табуретку и приколотил к ней подлокотники и спинку. На столе стоял старомодный угластый телефон с мохнатым проводом, стену украшала схема трубопровода на пожелтевшем ватмане, у двери несколько вбитых в стену гвоздей заменяли вешалку.

Но сегодня Панюшкин невольно окинул кабинет холодным взглядом, словно зашел сюда в последний раз, чтобы попрощаться. Чувство расставания, отчужденности охватило его, и в кресло он сел так, будто его на время оставили в чужом кабинете, будто вот-вот зайдет хозяин, посмотрит на него недоуменно – а ты, мол, кто такой? Панюшкин отрешенно посмотрел на дождевые пятна, разбросанные по потолку, на замусоленную дверь, на бумаги, показавшиеся вдруг ненужными, незначительными, неожиданно резко почувствовал запах раскаленной глины, исходившей от печи...

Отчуждение... Откуда оно? Почему он показался себе чужим в собственном кабинете? Ведь было! Только что он зашел сюда с робостью, неуверенно. Неужели прощание все-таки состоится? Неужели и через это ему предстоит пройти? Иначе откуда эта мгновенная переброска куда-то в будущее, когда ты будешь лишь вспоминать об этом кабинетике, да и вспомнишь ли... Тогда уж он действительно станет для те-

бя чужим, и с удивлением будешь прикидывать: где мог видеть это странное мрачноватое помещение? И мелькнет сумасшедшая надежда – может быть, до сих пор помнят тебя те стены, маленькое перекошенное окно на Пролив, крыльцо с прогнившими ступенями и отчаянно скрипящая табуретка, воображающая себя креслом? Вдруг не во сне ты все это видел, вдруг в самом деле помнят они тебя и где-то ждут?

Панюшкин не был суеверным, и не смущали его ни кошки, перебегающие дорогу, ни роковые цифры, ни вещие сны. Как и всякий человек дела, он был уверен, что все это – блажь, которая нисколько не влияет на работу, если работа хорошо продумана и организована. Но он всерьез опасался смутных предчувствий, таких вот, как сегодня. Ведь не мог он быть чужим в своем кабинете, а чувство такое возникло. Откуда оно? Интуиция? Расчет? Подсознание?

Наверно, в глубине души Панюшкин все-таки признавал дурные приметы, но относился к ним как к предупреждению, ну, вот как если бы неведомая сила, какой-то оборотень преследовал его, неосторожно оставляя следы. Заметив ту же кошку, перебегающую дорогу, Панюшкин мысленно благодарил ее и настораживался, как охотник, заметивший на тропе след опасного хищника. Через минуту он забывал о кошке, но подтянутость, внутренняя готовность встретить скверную неожиданность оставалась. Война с несуществующим оборотнем больше напоминала игру и забавляла Панюшкина. Часто он забывал о нем, но когда появлялась пере-

дышка, возможность прикинуть варианты, оборотень напоминал о себе, и Панюшкин, усмехаясь, мысленно разговаривал с ним как с равным противником, отстаивающим нечто противоположное. Конечно же, он сам, его сомнения, колебания, его собственная дерзость или усталость...

Когда однажды ночью Горецкий, тот самый Горецкий, из-за которого и приехал в Поселок следователь, напившись, забрался в бульдозер и попер на общежитие, чтобы снести с лица земли этот «клоповник», у Панюшкина возникло ощущение, будто рычагами бульдозера в этот момент двигает оборотень. И он, не раздумывая, стал на его пути, заслонив собой жиденький барак, потому что знал: не будет барака – и завтра же половина его обитателей уедет. И тогда снова рассылай заявки, объявления, требования и жди, жди, пока снова соберется достаточно водителей, ремонтников, сварщиков. Бульдозер каждую минуту мог раздавить его, вмять гусеницами в сырой песок, и Панюшкин отступал, пятился, пока не уперся спиной в бревна барака. Он мог отскочить в сторону, но он не сделал этого. Потом, поздно ночью, глядя на свои еще вздрагивающие пальцы, он пытался понять – почему? Только ли здравая мысль о спасении общежития руководила им? Нет, в тот момент его душила злоба, он ненавидел бульдозер, этот сгусток холодного металла, ненавидел Горецкого. «Давай дави! – как бы говорил он. – Но уж тогда-то тебе не отвертеться, станешь и ты к стенке!»

Тяжелый стальной нож покачивался на уровне груди, в

нескольких сантиметрах, потом эта глыба стали еще приблизилась, коснулась его, прижала к стене так, что Панюшкин уже не мог вздохнуть. Он видел, как хлопали двери общежития, вспыхивали окна, бежали люди. Фары не слепили, они были по обе стороны от него и казались глазами оборотня – слепыми, обезумевшими, испуганными. Да, он почувствовал неуверенность стального ножа. Панюшкин осторожно выбрался из узкой щели между резаком и стеной, лишь когда увидел, что Горецкий, не выключив мотор, спотыкаясь, ушел в темноту.

А на следующий день из бешеного бульдозера оборотень превратился в бракованные трубы, потом – в обыкновенный грипп, в обильную партию водки для поселкового магазина, в неожиданное бегство двух специалистов, без которых бригада водолазов простояла почти неделю...

Но когда дела на Проливе шли отлично и ничто не мешало работе, а из министерства не забывали присылать поздравления к праздникам и пожелания новых трудовых успехов, когда ему никто не объявлял выговоров, а наоборот, даже снимали прежние, Панюшкин настораживался. И спешил, спешил, стараясь выиграть час, сутки, – оборотень не мог оставить своих козней, он опять что-то затеял, он опять где-то совсем близко. Казалось бы, и трубы в достатке, и погода хорошая, и сварщики не думают уезжать, а Панюшкиным овладевало беспокойство, и он сутками не уходил с Пролива, наверняка зная, что все это не может продолжаться слишком

долго, что оборотень притаился, может быть, вон за той сопкой, под тем листком календаря, прилетел в самолетике, который кружит над Поселком, заходя на посадку.

Слушая отчеты водолазов о том, что трубы в траншею легли отлично, как в постельку, и никакая сила не вырвет их оттуда, Панюшкин радовался как ребенок, хлопал себя ладонями по коленям, рассказывал занятные истории, а потом вдруг умолкал, замыкался, будто почувствовав боль в сердце, будто его беззаботный смех мог озлобить оборотня...

* * *

– И в воздухе сверкнули два ножа, – вслух проговорил Панюшкин, не отрывая взгляда от отчета. И повторил: – Два ножа. Пираты затаили вдруг дыхание. Все знали атамана как вождя... И как удивительного мастера по делу фехтования. Да, все знали атамана как вождя и большого специалиста в фехтовальном деле...

– У вас неприятности, Николай Петрович? – в дверях стояла Нина – машинистка, секретарь, курьер и еще бог знает кто. В общем, правая рука Панюшкина. – Раз, думаю, дело до ножей дошло, значит, что-то будет, – сказала Нина без улыбки низким, сипловатым голосом.

– Обязательно что-то будет. И неизбежно что-то кончилось. Это всегда так, Нина, – Панюшкин сдвинул в сторону все бумаги и на освободившееся место положил сцепленные

ладони. – Ох, Нина, и давно же у нас праздника не было!

– Про пиратов хочется спеть?

– А ты думала как! Понимаешь, Нина, – Панюшкин встал из-за стола, прошелся по кабинету. – Гарри-то, оказывается, не зря был столь угрюм и молчалив. Нет, не зря. Он уже знал, что Мэри ему изменила. Но известно ему было далеко не все, он не знал главного – она его любила! – Панюшкин предостерегающе поднял указательный палец. – Да, все было именно так – он молча защищался у перил, а в этот миг она его любила. Какие слова, Нина! Он молча защищался у перил, а в этот миг она его любила! И при этом не забывай – в воздухе сверкают два ножа! Ядрена шишка! – Панюшкин восхищенно покрутил головой.

– Все это хорошо, – тускло сказала Нина. – Все это хорошо, – повторила она, садясь на табуретку возле стола.

– А что плохо?

– Следователь приехал, Николай Петрович.

– Да. Я знаю. Будет твоим пиратом заниматься, – Панюшкин остро глянул на Нину глубокими синими глазами и тут же прикрыл их густыми бровями.

– Неужели нельзя было все это решить самим, а, Николай Петрович? – Нина взяла со стола листок и принялась складывать его, снова распрямлять, опять складывать. – Не понимаю... Живут люди, хорошо знают, кто чего стоит... А как что случится – зовут со стороны разобраться... Неужели самим нельзя?

– Отчего же нельзя, все можно. Когда он на меня бульдозером попер, чуть было гусеницами не растерзал, ведь мы сами все решили. Может быть, напрасно посамовольничали, но решили сами. Полюбовно. Простил я его. Даже не его, я о тебе думал. Должен ведь начальник заботиться о том, чтобы подчиненные улыбались почаще... Вот я и позаботился. Полгода ты улыбалась. Но сейчас... Нина, он ударил человека ножом. Причем пойми, там сверкали не два ножа, там сверкал только один нож. Его нож, Нина.

– Сколько же ему дадут?

– Если только за это... Года два, полагаю. Может, три, четыре... Суд разберется. Суд не любит, когда ему подсказывают решения.

– А за что же еще его можно судить, Николай Петрович?! Или... или вы решили эту историю... с бульдозером?..

– Нет. Речь идет все о той же ночи. Есть подозрение, что он не только Елохина ножом пырнул, но и над Большаковым поработал. Большакова нашли обмороженного, разбитого... Переломана нога, ребро... Да и Юрку он в сопках бросил. Это тоже статья – оставление человека в условиях, опасных для жизни. Юрка мог замерзнуть? Мог. Неважный тебе пират попался, Нина. Неважный. Родителей мы не выбираем, а мужей, парней, друзей – можем. Тем более у нас здесь хватает ребят. Только свистни!

– Хватит уж, отсвистелась.

Нина была маленькой, худенькой женщиной с неожидан-

но густым, сипловатым голосом. Она приехала работать учительницей, но в последний момент оказалось, что с учителями вышел перебор, много ли их надо для полутора десятков детишек? Панюшкин предложил ей место секретаря. А потом, когда появилось место учителя, Нина не захотела идти в школу. Из нее вышла жестковатая, неразговорчивая, но на удивление дельная секретарша.

– Ладно, Нина, – сказал Панюшкин. – Разговор этот грустный да и преждевременный. В любом случае справедливость я тебе обещаю.

– Что мне делать с этой справедливостью, Николай Петрович? В постель с ней не ляжешь, сыт ею не будешь да и на стенку не повесишь...

– Ты и с детьми так разговаривала?

– Потому я и здесь, что не могла с ними так разговаривать. Учитель должен быть идеалистом или притворяться им. Для этого мне слишком много лет... И потом, для идеалистки я недостаточно счастлива.

– А может, все к лучшему, а, Нина? Ведь с ним ты все время как по ножу ходила. Не муж он тебе, да и не хотел им быть! Ну ладно, это я не туда, не в ту степь поскакал. Прости великодушно.

– Чего уж там... Не будем, Николай Петрович, манную кашу по белой скатерти размазывать. Это Комиссия... Что-то будет?

– Я же сказал. Что-то кончилось, кое-что намечается...

Сколько же всего кончилось! Страшно давно кончилось детство, молодость... И все, что с ней бывает связано, тоже кончилось. И зрелость... С ярмарки, Коля, едем, с ярмарки. Неужели в самом деле все перегорело и только пепел на ветру завивается? Нет, кое-что осталось. Еще идет тот дождь, еще блестят под фонарями мокрые булыжники, и щека помнит прикосновение холодной телефонной трубки, и слышны еще в тебе те ночные безответные звонки. Да только ли это...

А запах перегретых на солнце цветов акации, шершавость горячей скамейки во дворе, куда вышла вся свадьба после пятого или десятого тоста. Зной струился по раскаленной кирпичной стене, плыл над тощими, вытоптаннами клумбами, обволакивал деревья и задыхающихся от жары гостей. Вынесли проигрыватель, стол с выпивкой и закуской, кто-то снова заорал «горько», и свадьба продолжалась на потеху соседям, приникшим к подоконникам четырех этажей.

Колька Панюшкин пришел позже всех, бледный и нарядный. Он не хотел идти, знал наверняка, что не должен быть на свадьбе, если у него есть хоть капля достоинства. Он дал себе страшную клятву не идти, с самого утра занимался какими-то необыкновенно важными делами, которые вроде бы должны были помешать ему пойти, но знал, знал, что не хватит у него ни гордости, ни прочих высоких качеств, чтобы остаться в общежитии. Знал, что пойдет. Чтобы увидеть ее чужой и ненавистной, с пьяными глазами, с губами, раздав-

ленными криками «горько». Пойдет, чтобы освободиться от нее. Мог ли он подумать, что даже через много лет, за тысячи километров, на промерзшем Острове он все еще не добьется свободы и будет счастлив этой своей кабалой.

– А вот и Коля, – сказала она тогда беззаботно. – Здравствуй, Коля! Что же ты опаздываешь? – Ирка была хмельная и немного развязная.

– Да так, задержался, – промямлил он.

– А это Гена, – она показала на затянутого в черный костюм, обливающегося потом, красного от жары, от выпитого, блаженно улыбающегося мужа.

– А-а, – протянул тот, – ночной звонарь? Рад познакомиться. Пойдем выпьем за молодых... Только, слышь, не звони в эту ночь, ладно? Я тебя так прошу, так прошу, чтобы ты в эту ночь не звонил! Понимаешь, у меня просто не будет времени подойти к телефону. И у нее тоже не будет времени.

– Ничего, – Ирка улыбалась все так же пьяно и расслабленно. – Он позвонит послезавтра. Да, Коля?

– Во! – воскликнул муж. – Я что тебе говорил! Все-таки муж и жена – одна сатана! Пойдем выпьем!

– Ты выпей, Коля, – посоветовала Ирка. – Выпей. Может, полегчает, – она засмеялась, но тут же осеклась, поняв, что сказала лишнее.

– Не надо, Ира. А то нам трудно будет разговаривать, когда ты придешь.

– Куда приду? – опасливо спросила она.

– Ко мне.

– Ты уверен, что я к тебе приду?

– И ты тоже.

– Ты, кажется, уже где-то выпил! – Она обеспокоенно взглянула на мужа. – И вообще, о чем ты говоришь, Коля?

Он и сейчас помнил ее голос, видел возмущение, растерянность, и все это настолько четко, что иногда ему казалось возможным снова оказаться в том душном, пьяном дворе и закончить разговор, который Панюшкин никак не мог довести до конца и сегодня. Он не помнил – выпил ли тогда с ее мужем, что было потом, как он ушел, куда ушел, но до сих пор видел перед собой растерянное Иркино лицо, слышал ее пьяный, чуть хрипловатый голос.

* * *

В одиннадцать часов утра тесный, жарко натопленный кабинет Панюшкина был переполнен. Собрались начальники участков, бригадиры, представители общественного питания, торговли, снабжения. Панюшкина в кабинете не было, но в воздухе висело нечто неосязаемое, неуловимое, но остро всеми ощущаемое – «Толыса снимают». Кто мог бросить этот слух, какими путями просочился он сюда, было непонятно. Никто из прибывших членов Комиссии, из руководства стройкой, тем более сам Панюшкин этих слов не проносили.

Впрочем, чему удивляться – слухи живут по своим, еще не открытым законам, они с такой удивительной скоростью проникают в самые недоступные места, что невольно хочется думать о них как о чем-то мистическом, таинственном. Кто откроет законы их рождения, размножения, распространения? Кто сумеет поставить их на службу человечеству? Кто найдет для них полезное применение, да и будет ли это когда-нибудь? Может быть, есть микробы слухов? Или же это волны, неведомые физикам? Известно лишь, что есть переносчики слухов, люди, которые без сплетен хиреют, ссыхаются и гибнут. Предположения, догадки будят их воображение, будоражат кровь, позволяют испытать высочайшие взлеты мысли, ощутить пьянящую силу любви и ненависти. Слухоносец легко вступает в контакт с подобными себе, шутя преодолевает ступени социальной лестницы, для него нет преград языка, национальности, цвета кожи, обычаев, религии. Единственное его стремление – передать слух дальше, освободиться от тайны, сбросить ее с души, как непомерно тяжелый груз.

Особенно могучи слухи, пахнущие кровью. А у тех, которые, подобно густому папиросному дыму, наполняли кабинет Панюшкина, явственно ощущался запах крови – «Полетит у Толыса голова».

Главный инженер Званцев сидел, небрежно закинув ногу за ногу и поставив локоть на угол начальственного стола, как бы давая понять свою причастность к руководству. За-

меститель Панюшкина по хозяйственной части Хромов был, как всегда, нагловат и неряшлив. На своем обычном месте, в углу, у печки, сидел молчаливый и настороженный главный механик Жмакин. Начальник мехмастерской Ягунов что-то возбужденно шептал участковому Шаповалову, а тот беспомощно озирался по сторонам, умоляя избавить его от этого жаркого шепота. Он старательно моргал глазами, кивал, а сам незаметно отодвигался, надеясь, что кто-то из опоздавших заметит просвет на лавке и избавит его от столь тяжелой повинности.

И было еще много других людей, с обветренными лицами, огрубевшими от работы пальцами, в распахнутых куртках, полушубках, телогрейках, здоровых, неуклюжих. Все о чем-то перекрикивались, над кем-то подшучивали, кому-то что-то обещали, решали мелкие будничные дела, соглашались, отказывались, в шумном, грубоватом говоре находя радость взаимопонимания.

Панюшкин вошел в кабинет точно к назначенному сроку, протиснулся сквозь распаренные мужские тела, сквозь запах пота, дыма и мокрой овчины, оставляя за спиной настороженность и молчание. Сев за стол, он внимательно осмотрел всех, каждому твердо глянул в глаза.

– Я должен сообщить вам пренеприятное известие, – сказал он от волнения громко.

– К нам едет ревизор? – хохотнул Хромов.

– Более того – к нам приехала бригада ревизоров. В ее со-

ставе секретарь райкома, представители министерства и заказчика. Есть еще несколько человек, но они так... Комиссию интересуют результаты нашей деятельности.

– Нашей или вашей? – уточнил Хромов.

– Что касается вашей деятельности, товарищ Хромов, то она вряд ли заинтересует Комиссию. Здесь все настолько ясно, что даже не стоит выметать сор из избы. Хотя у нас, слава богу, есть чем выметать.

Хохот был настолько единодушный, мощный и облегченный, что Панюшкин не удержался от смущенной улыбки. Несколькими словами он разрядил атмосферу и дал понять всем, что его дела не так уж плохи. Панюшкин напомнил историю, которую знали не только строители, но и летчики северных трасс Острова, моряки, нефтяники, буровики и даже геологи с мыса Елизаветы...

Как-то осенью Хромов заговорил о снабжении рабочих зимней одеждой, более того – сам вызвался эту одежду закупать на Материке. Больше месяца шастал Хромов по городам и весям, добывал валенки, телогрейки, рукавицы и прочие необходимые вещи. Наконец перед Новым годом в адрес стройки прибыл груз. С превеликими трудностями специальным рейсом вертолет доставил контейнер на стройку. Встречать его собрался едва ли не весь Поселок, пришли даже ученики из школы – событие было не из обычных. Кто-то догадался выставить из окна конторы динамик, и на весь

Поселок грянул торжественный марш. Правда, сам виновник торжества в хлопотах где-то задержался. Но вскоре его отсутствие стало понятным. Когда сорвали пломбы, на снег посыпались... веники. Да, контейнер доверху был набит вениками. И ничего больше в нем не нашли, хотя и пытались.

– Не было валенок, – пояснил обнаруженный на дальнем складе Хромов. – Но ведь надо было что-то взять, деньги-то отпущены... Предложили веники...

– Пряников тебе не предлагали? – спросил его тогда Панюшкин.

– А что, лучше бы взять пряников?

После этих слов Хромова мало кто устоял на ногах от хохота.

– Итак, я продолжаю, – Панюшкин подождал, пока все утихнет. – Комиссию интересует наша деятельность. Насколько она целесообразна и полезна для общества. Ее волнуют причины срыва графика строительства, она хочет знать, почему до сих пор по трубопроводу не пошла нефть. Кроме того, ей очень любопытно, какая у нас общественная жизнь, как дела с воспитательной работой, чем занимаемся в свободное время, какие лекции слушаем, какие фильмы смотрим и в каком порядке.

– А производство ее интересует? – спросил из угла Жмакин.

– Да. Производство ее интересует в первую очередь. Что

сделано, что осталось сделать, как мы намерены выполнить заключительную стадию работы. И сможем ли это сделать при том составе, который у нас есть.

– Имеется в виду руководящий состав? – невинно спросил Хромов, глядя в окно.

– Комиссию будут интересовать не только цифры, но и мнения. Поэтому я прошу всех подготовиться, чтобы суметь ответить на вопросы, касающиеся работы своего участка.

– А позволительно ли нам иметь мнение обо всей стройке? – опять спросил Хромов.

– Позволительно. Хотя для вас это будет затруднительно.

– Почему же, любопытно знать?

– А потому, что невозможно обрести мнение за несколько часов, не обрета его за несколько лет.

– Вопрос, Николай Петрович, – поднялся с табуретки Жмакин. – Здесь слухи всякие ходят... Прошу ответить – верно ли, что вас снимать собираются?

– О том, что меня собираются снимать, мне ничего неизвестно, – Панюшкин хмуро глянул на Жмакина из-под бровей. Его побелевшие кулаки легли на стекло стола, губы были плотно сжаты. – У меня все. А у вас?

Жмакин скорбно посмотрел на Панюшкина:

– Вы напрасно, Николай Петрович, не надо... Я подумал, что будет лучше, если вы сразу ответите на этот вопрос... Нам всем проще будет жить... И вам тоже.

Жмакин сел, спрятавшись за спины. Кто-то ткнул его лок-

тем под бок, кто-то ударил кулаком по плечу – подобной дерзости от молчаливого механика не ожидали.

– Будем заканчивать, – негромко и как-то расслабленно сказал Панюшкин. Своим вопросом Жмакин снял напряжение. – Станислав Георгиевич, – Панюшкин остановил Хромова, – останьтесь, пожалуйста, на минутку.

...Опустел кабинет, гул голосов слышался уже за дверью. Говорили о чем-то, не имеющем никакого отношения к Комиссии. И Панюшкина охватила обида, горькая, почти мальчишеская обида. Вот так же будут разговаривать о постороннем, когда... Да, мелькнула мысль о смерти, о которой он никогда не думал и никогда не забывал. Но если раньше было ощущение, что она где-то далеко, не на этих берегах, то теперь иногда среди бела дня, в столовой, на Проливе, в кабинете его вдруг охватывал осторожный, как бы прощупывающий холодок. Он не называл это предчувствием смерти, само слово казалось слишком грубым, вульгарным и никак не вязалось со всем, что держало его в жизни. Впереди просто катастрофа. Как Тайфун. Неожиданная, все сминающая катастрофа. И исчезнет мир, в котором он жил, мир, наполненный голосами, воспоминаниями, надеждами...

– Вы не забыли обо мне, Николай Петрович? – спросил Хромов.

– Это самая большая моя мечта – забыть о вас. Но вы не даете ей исполниться. Станислав Георгиевич, вы меня, пожалуйста, извините... Надо же иногда бриться, Станислав Ге-

оргиевич! Ведь вы заместитель начальника строительства!

– А! Оставьте! Мне кажется, Николай Петрович, у начальника строительства есть дела поважнее, чем... чем измерять длину моей щетины. Может, я бороду решил завести. А что?

– Вы должны понимать... На Проливе работают молодые ребята, и неряшливость... Поймите правильно... У них еще нет противоядия, и такое вот отношение к себе они могут принять за норму, у них может появиться этакая бравада, что ли... В медвежьем углу, мол, живем. Закончится стройка...

– А закончится ли?

– Хочу, чтобы вы поняли: это не только ваше личное дело... В конце концов от того, как человек выглядит, выбрит ли он, подтянут ли, собран, зависит его производительность, его ценность как работника. Здесь нет города, который бы подстегивал их, здесь нет девушек...

– Уж не предлагаете ли вы мне взять на себя роль девушки?

– Станислав Георгиевич, бросьте это... Дешево. Кокетничаете, будто действительно не прочь взять на себя эту роль.

– Что вы предлагаете?

– Я предлагаю вам быть опрятнее. Предлагаю вам бриться хотя бы два раза в неделю. Предлагаю вам завести носовой платок, а не пользоваться пальцами.

– А по-моему, Николай Петрович, вы просто по случаю приезда Комиссии пытаетесь навести порядок в документах, на стройке, а заодно и на моей физиономии. Показушая де-

ательность никогда не вызывала во мне уважения.

– Значит, так, Станислав Георгиевич... Я не допускаю вас сегодня к работе. Вы не готовы. Идите домой и приведите себя в порядок.

– Зачем же так, Николай Петрович? – Хромов потер ладонью пухлую щеку, покрытую седой щетиной, поморгал припухшими веками. – Зачем наживать себе... недоброжелателя, Николай Петрович? При вашем положении, особенно сейчас... Это рискованно, Николай Петрович... Неблагодарно. Противники...

– Неопрятные, опустившиеся противники не внушают мне никакого опасения. Не смею вас больше задерживать. – Панюшкин обиженно подобрал губы и склонился над бумагами. – У меня все, – добавил он, не поднимая головы.

– А у меня – нет. – Хромов положил на стол большую пухлую руку, и Панюшкин с брезгливостью отметил ее несвежий вид.

– Если я вас правильно понял, вы хотите сказать мне нечто серьезное?

– Да. И скажу. Прежде всего...

– Прежде всего я хочу предупредить вас, что не смогу отнестись к вашим словам всерьез.

– Это почему же?

– Потому что вы сегодня не умывались. А вчера вечером слишком много выпили для своего возраста и для своего здоровья. И для положения.

– Ладно, – сказал Хромов. Под его тяжелыми щеками шевельнулись желваки, а уши медленно покраснели. – Оставим это. Поговорим о другом. Хотя, вижу, вам гораздо интереснее было бы потолковать о том, чистил ли я сегодня зубы.

– Вы их не чистили в этом году.

– Ладно, Николай Петрович. Не будем показывать друг другу зубы.

– Вам и нельзя этого делать, – усмехнулся Панюшкин.

– Ладно, Николай Петрович, ладно. Мне кажется, ваш возраст...

– Оставьте в покое мой возраст.

– Почему? – Хромов вскинул редкие белесые брови, вернее, те места, где положено быть бровям. – Ваш возраст, как и моя щетина, – вполне производственные факторы. Разве нет? И если уж вы взялись в пожарном порядке воспитывать меня... Ну ладно... Так вот, о воспитании... Я уже говорил вам, что на строительстве не ведется воспитательная работа. Она подменена разносами, выговорами. А воспитательная работа необходима, поскольку здесь нет ни города, ни девушек.

– Вам так запали в душу эти девушки... Кажется, я попал в самую точку.

– Продолжу. Сам факт прибытия в Поселок следователя прокуратуры – случай прискорбный. Но он подтверждает мою правоту. В нем, как в фокусе, отразилась вся ваша воспитательная работа. Вернее, ее результаты. Согласитесь,

на стройке почти полностью отсутствует наглядная агитация. Нет в достаточном количестве ни плакатов, ни лозунгов, ни призывов... В итоге частые нарушения техники безопасности. Я не удивлюсь, если не сегодня завтра произойдет несчастный случай. И отвечать будете вы.

– Разумеется.

– Недавно вы сняли с Пролива целую бригаду такелажников под тем предлогом, что они были, так сказать, не совсем трезвы. Что ж, вы поступили правильно...

– Спасибо.

– Но вы не ударили палец о палец, чтобы предотвратить такие случаи в будущем.

– Куда же смотрит инженерная служба?

– В зеркало, Николай Петрович. Инженерная служба смотрит в зеркало. Следит за своей внешностью.

– Чем же занимаются те, кто не следит за своей внешностью?

– Их так мало, Николай Петрович! Вряд ли они в силах изменить положение. И потом... Поскольку не следят за своей внешностью, они не пользуются доверием руководства. Их снимают с рабочих мест и отправляют домой чистить зубы.

– Пока мне известен один такой случай.

– Господи, Николай Петрович! Где один – там и два, где два – там система. Вам ли это объяснять! Бич стройки – неорганизованность. Работа служб не согласована. Отсюда – частые простои бригад, машин, механизмов. Водители не

знают, что затевают на баржах, ремонтники не знают планов водителей, газосварщиков...

– Понимаю. Газосварщики не знают, что затекает зам по снабжению Хромов, чтобы обеспечить их газом. Что вы предлагаете, Станислав Георгиевич?

– Ничего. Предлагать и проводить предложения в жизнь – задача начальника. Ведь пока вы у нас начальник, я ничего не напутал?

– Значит, никакой программы у вас нет? В таком случае прошу все то, что вы мне здесь рассказали, изложить на бумажке и отдать машинистке. Она у нас редактор стенгазеты. У нее вечно не хватает материалов.

– Хорошо, Николай Петрович. Все напишу на бумажке. А вот в какую газету отправить – решу сам.

– Наконец-то вы начинаете принимать решения.

– Боюсь, Николай Петрович, это не доставит вам радости. – Хромов тяжело поднялся. – Хочу только добавить... Вы должны быть очень осторожны, Николай Петрович. Другой начальник мог бы рассчитывать на снисхождение... Вы – нет. Что бы ни случилось, в министерстве сразу вспомнят про ваш возраст. И в этом увидят главную причину срыва. Вы, Николай Петрович, имеете право только на победные рапорты. Но стройка не бывает без неожиданностей, верно? Эх, Николай Петрович, уходить вам надо, самому уходить, пока не поздно. Не дожидаясь оргвыводов. Самому.

– А зубы вы все-таки показали.

– Виноват, Николай Петрович. Простите, не сдержался. Виноват! – Куражась, он поклонился у двери, отчего лицо его тут же налилось кровью, и церемонно вышел.

«А ведь Хромов давно готовился к этому разговору, – подумал Панюшкин. – И кто знает, не надеялся ли он, что я стану бросать ему вслед папки с бумагами? Наверно, это дало бы ему право уважать себя. Если меня ненавидят, значит, я сильный – какое прекрасное оправдание ничтожества! Да, дурные наклонности не живут в одиночку. Стоит появиться у человека слабости, и она тут же тащит за собой трусость, приспособленчество, не успеешь оглянуться, как зависть вселилась, подлость стучится... Утешает хотя бы то, что и добрые чувства, как я замечаю, не бывают одинокими – порядочность не расстается с честностью, мужество не ссорится с великодушием, все рядышком, за одним столом...

Но откуда у него такая уверенность, что дни мои сочтены? Его-то самого уволить можно в любой момент, причин для этого более чем достаточно... Что же движет им, где мотор? Изменила выдержка? Слишком долго сидел под одеялом? Ему тоже шестой десяток... И за душой нет ничего! Скольких же людей он считает виновниками неудавшейся жизни! Несчастный, слабый человек! И ему не поможешь. Да и чем можно помочь человеку, смирившемуся с поражением? А его сегодняшняя наглость – это наглость обреченного. Он потому вел себя столь отчаянно, что ничем не рис-

ковал. Положение в нашем маленьком, замкнутом обществе, стройка – все это не имеет для него никакой ценности.

Да, Хромову нечем рисковать. Значит, не за что бояться? И не за что драться? Молиться не на что? Какая беспробудная жизнь! А я-то, я, дубина неотесанная, в упоении стройкой, тайфунами, миллионами и годами несея, не замечая стонов вокруг себя! Стонет Хромов, снедаемый сознанием собственного ничтожества... Стонет Нина, зная, что ее парня посадят на несколько лет... Но неужели я исторгаю лишь счастливый, беззаботный смех? Мои стоны никто не слышит. И дело не в начальственном честолюбии. Застонать вслух, значит, проявить слабость – роскошь, которую я не могу себе позволить».

* * *

Столовая располагалась в вагоне, очень похожем на железнодорожный. Только колеса у него были не стальные, а на шинах, за два года они полностью ушли в зыбкий песок. От вагона к сараям тянулся щербатый частокол забора, рядом в беспорядке громоздились пустые ящики из-под тушенки, круп, макарон. Выкрашенный темно-зеленой, такой железнодорожной краской, этот вагон, его покатая ребристая крыша с вентиляционными грибочками, тамбур со ступеньками, закругленные углы окон не раз наводили Панюшкина на мысль, что опять едет он в поезде еще на одну окраи-

ну страны, а состав лишь на минуту остановился у полустанка – вот-вот дернутся и поплывут вагоны. И снова понесутся мимо окон заснеженные сопки, раскаленные на солнце барханы, дюны, зеленые стены тайги, замелькают мосты, одинокие избы, замелькают неподвижные стрелочники с желтыми флажками – Панюшкина всегда почему-то трогали эти люди, стоящие вдоль дорог.

Но поезд стоял уже третий год, и Панюшкин знал – это его последняя остановка.

Столовая была пуста, только возле самого тамбура, на своем привычном месте, в углу, сидел Панюшкин. Напротив устроился Белоконь.

– Деточка ты моя, Николай Петрович, – скороговоркой чистил следователь, вынимая из портфеля бланки протоколов, – прости меня, грешного, что подловил тебя в этом несуразном месте!

– Чего толковать... Уж подловил, – хмуро проокал Панюшкин.

– А что делать! Из-за этой Комиссии к тебе не подступишься. Вот выпусти тебя сейчас за дверь – они тут же как воронье налетят, а?

– Налетят. Как пить дать. Только вот что, деточка, – передразнил Панюшкин, – ты вот один собираешься допрашивать, а через час у меня начнется перекрестный допрос. Помилосердствуй! Давай просто потолкуем, по свободе запишешь, что найдешь нужным, а я потом прочту и подпишу.

А? Сжался над стариком!

– Как же тебя замордовали... Ну ладно. Нарушу процедуру. Учитывая оторванность, плохое сообщение и сложность климатических условий. – Белоконь с сожалением посмотрел на разложенные бланки, сунул их в портфель. – Договорились. Хотя, Николай Петрович, должен признаться, что сам вид незаполненного протокола меня как бы... подстегивает. Сразу понимаю, какие вопросы нужно задать, где поднажать, к чему вернуться во второй или в третий раз... Протокол – это произведение. Да! По нему оценивают мою работу, результаты, выводы, которые я предлагаю суду. Знаешь, есть у меня слабинка – люблю допрашивать людей.

– Что-что? Как ты сказал? – Панюшкин даже припал грудью к столику.

– Касатик ты мой, Николай Петрович! Не надо ловить меня на слове. Не получится, старый я по этому делу. Вот сказал, что, дескать, людей допрашивать люблю, а сам жду, как мой друг, Николай Петрович, отзовется. Заметит – нет? Заметил. Усек. Покоробило его маленько.

– На приманку, значит, подцепил? Ладно, продолжим, – Панюшкин с интересом посмотрел в свежее лицо следователя.

– Так вот, – Белоконь потер ладони друг о дружку так жаростно, будто хотел таким способом огонь получить, – для нашего брата, который хлеб зарабатывает, в пороках человеческих копясь, допрос – одна из стадий производственно-

го процесса. Кстати, моя любимая стадия. Есть еще оформление всевозможной документации, экспертизы, поиски, погони, хотя погоня – по линии уголовного розыска. Но допрос – это для души. Люблю потолковать со свежим человеком. Неважно, свидетель он, преступник, соучастник, жертва, укрыватель, неадекват... Помыслить только, – Белоконь даже голос понизил, – за каждым поступком стоит целая система ценностей, убеждений, взаимоотношений. И мне важно не только разобраться в происшествии, я хочу знать, почему человек сделал так, а не иначе, почему пошел на преступление, какие вехи отмечают его жизненный путь!

– Ядрена шишка! Да ты поэт!

– погоди насмешничать! Дай сказать, а то забуду! Что есть преступление? Часто преступление есть психологически, нравственно, духовно грубое стремление выразить себя. На преступление идет человек, который не в силах справиться со своими страстями, желаниями, мечтами, да-да, и мечтами! Случается, что голубая, розовая, невинная мечта толкает человека на самое страшное. У преступника искаженные представления о достоинстве, справедливости, о самом себе! Человек хочет вмешаться в жизнь, но не знает, как это сделать, а натура распирает, требует выхода! Но мы судим и того, кто совершает покушение на сволочь, избивает подлеца, оскорбляет склочника... О, как много на свете разных людей!

«Хлопотун, – подумал Панюшкин. – Но, кажется, любит

свою работу. Это хорошо. Опасность может быть только в одном – если он дурак. Ужасно, когда дурак любит свою работу. Преданность делу дает ему неуязвимость, а дурацкая убежденность способна смести и растоптать все доводы разума. Но Белоконь не дурак».

– И с преступником удастся поговорить по душам? – спросил Панюшкин, незаметно взглянув на часы.

– А как же! Нередко подследственный даже радуется, когда его вызывают на допрос. Это значит, что он увидит конвоиров, пройдет по коридору, выглянет в окно на улицу, может быть, даже закурить удастся, он будет час, второй, третий беседовать со мной, между нами будет происходить многочасовая схватка, а на кону-то – жизнь! Судьба! Его судьба!

– Любопытно, – проговорил Панюшкин. – Как-то не задумывался над этим...

– Ха-ха! – довольно засмеялся Белоконь, сверкнув в полумраке вагона молодыми зубами. – Что получается – преступник и следователь составляют малочисленный коллектив, работающий над установлением истины. У них различные роли, цели, но коллектив один. И контакт рано или поздно налаживается. Ведь обе стороны ведут между собой напряженные переговоры: следователь старается доказать вину преступника, а тот, в свою очередь, утверждает, что его вины нет, а если и есть, то она гораздо меньше, нежели полагает гражданин начальник.

– Прекрасно! – Панюшкин хлопнул в ладоши. – Будем

считать, что контакт налажен. Начнем, гражданин начальник.

– Николай Петрович, какой же я для тебя начальник? Я – Иван Иваныч, и всего-то! Ну хорошо, – Белоконь посерьезнел, раздраженно оглянулся на перегородку, за которой раздавался звон посуды, и повел плечом, как бы отгораживаясь от всего, что мешало ему. – Николай Петрович, в общих чертах мне известно, что произошло. Меня интересует твое участие, твоя оценка.

За перегородкой наступила тишина. Но не от того, что работу закончили. Скорее работу приостановили, чтобы не мешать. Или чтобы лучше слышать разговор.

– В каких условиях работаем, ты знаешь, – начал Панюшкин. – Отсутствие дорог, сложности снабжения, плохое жилье, текучесть, оторванность не могут не сказаться на настроении людей, на их взаимоотношениях. Все это создает нагрузки на психику. Выдерживает не каждый. Когда к нам направляют сезонника, его даже не всегда спрашивают, что он умеет делать, почти не смотрят в трудовую книжку. Да и не у всех она есть. Завезут, высадят с вертолета, с самолета, с катера, и ты тут разбирайся.

– Моя ты деточка! – сочувственно вздохнул Белоконь.

– Да что говорить! – Панюшкин грохнул об стол тыльной стороной ладони. – Неплохо бы, отправляя людей в такие вот места, убедиться хотя бы в их дружелюбии, чувстве солидарности, товариществе... А тут еще одна проблема – мы пла-

тим людям неплохие деньги, но тратить их негде. Еще одно – строители наши, между прочим, мужского пола. Женщин почти нет. А гантелями, шахматами и лыжными гонками мужские интересы можно убить только в кино. Отсюда – обостренное отношение ко всему, что касается женской благосклонности.

– Судя по докладу участкового, драка в магазине произошла на почве ревности или что-то в этом роде, а?

– Не знаю, – Панюшкин поджал губы. – Выяснишь у свидетелей. Слава богу, все живы остались. Сам сказал – тебя интересует мое участие.

– И мнение.

– Мое мнение – все происшедшее случайность. Драка между Горецким и Елохиным не имеет касательства к ревности, поскольку ни у одного нет никаких отношений с женщиной, из-за которой они сцепились. Правда, Анна? – крикнул Панюшкин.

– Точно, Николай Петрович! – раздался из-за перегородки молодой женский голос.

– Вот видишь, – усмехнулся Панюшкин, глядя в растерянное лицо следователя. – Это она и есть... Ну, из-за которой драка произошла. Суть событий в другом. После того как Горецкого доставили в отделение милиции, он оттуда сбежал и прихватил с собой парнишку, Юру Верховцева, из местных. За что-то его Михаил посадил на ночку. К тому времени начался буран, по нашим понятиям – небольшой.

Мы организовали поиски. Начальник погранзаставы выслал наряды вдоль берега, а я со своей стороны отправил группы в сопки и на Пролив. Пришлось пожертвовать производственными делами, что для меня более всего огорчительно, – снял несколько групп с расчистки ремонтных мастерских, со склада; бульдозер, который должен был всю ночь расчищать дорожки между участками, тоже направил в сопки.

– Какой смысл посылать столько людей? Ведь проще всего беглецам уйти через Пролив на Материк?

– Ха! Не замерз Пролив, и в этом наша беда. Не замерз и не замерзает, хотя по ночам мороз к тридцати подбирается. Промоина осталась, метров двести в фарватерной части. Она-то и держит нас, она тоже виновата, что Комиссия прикатила! Вот так, гражданин начальник.

– Неужели столько всего затеяно, чтобы хулигана задержать? – спросил Белоконь с сомнением.

– Отвечаю – нет. Все поиски были организованы для спасения людей. Мы их спасли. Теперь ты решай, как с ними быть дальше.

– Не надо так, Николай Петрович, – посерьезнел Белоконь. – Обижусь. А мне не хочется на тебя обижаться.

– Не понял! – вскинулся Панюшкин.

– Все ты понял. Дескать, мы тут благородные, людей спасаем, а вот ты, товарищ Белоконь, из другого мира, приехал людей наказывать, сажать... Не надо. Ты не смотри, что я все время хихикаю, я из обидчивых...

– Ну, прости великодушно, если что не так вырвалось! – искренне воскликнул Панюшкин.

– Да уж вырвалось. Слово-то сказано. Теперь из мозгов его никакой кислотой не вытравишь. Понимаю, положение у тебя сложное, нервное. Если уж решат, кого наказать, накажут тебя... Понимаю. Только вот что я скажу тебе, Николай Петрович... Чтобы оправдать человека, спасти человека от ложных обвинений, тоже следствие требуется. Так что мы не только сажаем, мы и спасаем. Расследованием. А человек бывает уже и озлоблен обвинениями, разочарован во всем на свете, из болезненного упрямства готов даже оговорить себя, готов за решетку сесть, до крайности дело довести, чтоб, значит, нашего брата, следователя, сильнее уязвить, чтоб ткнуть носом в нашу несправедливость. А ты копаешься во всем этом, отсекаешь обиды, которые он взрастил в себе, и день за днем, день за днем отводишь от него, охламона, обвинения, оскорбления, осуждения, хотя он сам уж готов поверить в свою преступную сущность. Я ведь тебе про живой случай рассказываю, совсем недавний мой случай. Закрываю дело за отсутствием состава преступления, сообщаю ему об этом, а у него истерика. Плачет. Не верит. Приемчики, говорит, на мне свои испытываете. И ты вот тоже... Ну, ладно. Замнем, – Белоконь поднялся, нахлобучил на голову шапку.

– Дуешься? – спросил Панюшкин.

– Нет, Николай Петрович, мне нельзя. На работе отра-

жается. Будь здоров. Еще потолкуем, дам тебе возможность грех свой замолить.

– Замолю, – Панюшкин подошел к Белоконю, тронул его за рукав. – Ты уж не имей на меня зуб, ладно?

– У меня зубов вон сколько! – Белоконь шутливо ощерился. – На всех хватит. Учти.

Ушел к участковому Белоконь. Его черная фигура с неестественно громадной, из-за мохнатой шапки, головой прошла мимо окна, пересекла двор. Панюшкин неотрывно смотрел, как удаляется следовательно, как он, согнувшись, преодолевает подъем, потом перевел взгляд на белую башенку маяка, на штабеля труб и снова как бы вернулся в столовую. «А ведь он расследует не только выходку Горецкого, – подумал Панюшкин. – Он расследует и мое поведение. Хочет того или нет».

Голоса той ночи, гул бурана, телефонные звонки, радиовывозы... Все это снова ворвалось в него с той же нервной взвинченностью, как и в ту ночь, когда спасали, ловили, преследовали, искали – как еще можно назвать действия сотни людей? Участковый Шаповалов от досады колотил себя кулаками по коленкам, ругая беглецов, – в буран уйти из-под замка! «Куда? Верная гибель!» – крикнул он напоследок, уводя на Пролив пять человек аварийной бригады. Где-то над конторой прогудел вертолет, едва не снеся тощую трубу, из которой снопом летели искры. «Что же делать? Что же делать? – причитала в углу кабинета секретарша Нина. –

Ведь он замерзнет, погибнет...». Ей со злым наслаждением отвечал Большаков: «Радоваться! Поняла? Радоваться надо, что подохнет наконец эта сволочь, эта дурь двуногая!» «Что же делать?» – не слышала его Нина. «Радоваться! – орал из коридора Большаков. – Радоваться!» – донеслось протяжно с улицы, голос его был наполовину съеден бураном. Большаков и еще несколько рабочих уходили вдоль Пролива. «Ну, Петрович, устроил ты мне трибунал! – кричал из телефонной трубки начальник погранзаставы. – Загублю вертолет, людей загублю! Ах, Петрович...» – «Куда? – сипел бульдозерист Мельник, тыча пальцем в черное окно. – Мы ж эту гантелю на гусеницах до весны из снега не вызволим, Николай Петрович!» – «В сопки! По старой дороге, ядрена шишка!» – отвечал Панюшкин и грохал костяшками пальцев о стол. «Это что же дееется, товарищ начальник! – зывал отец Юры Верховцева, ушедшего вместе с Горецким. – Это по какому праву, товарищ начальник? – Обезумевший от горя старик угрожающе поводил в воздухе указательным пальцем. – Не-е! Я этого так не оставлю! Не те времена! Вы мне за мальчишку ответите! Ишь! Кончились времена! А то! Суконное рыло, да? Суконное?» Старик продолжал кричать, пока Жмакин, обхватив поперек, не вынес его в другую комнату. «Сиди! – крикнул он. – И не смей! Раньше надо было за мальчишкой смотреть! Схаменулся, дурень старый! – в волнении Жмакин переходил на украинский язык, находя в нем дополнительную возможность выразить то, что хотел. – Бач!

Схаменувся!»

Старик, не понимая его, ошарашенно затих. А тут еще у всех под ногами путался маленький и пьяный механик Ягунов, что-то советовал, доказывал, но его попросту отодвигали в сторону, когда он кричал слишком уж громко. Ягунов выбежал во двор, мгновенно возвращался. «Жмет! Ну дает, а?» – визжал он восторженно и требовал подтверждения у каждого, кто оказывался рядом. А потом, спрятавшись где-нибудь в темном углу, воровато оглядываясь, вынимал из кармана чекушку, молниеносно прикладывался к ней, тут же прятал бутылку и снова выбежал к людям. «То-то, я смотрю, что и зима – не зима! Теперь – зима! А что будет!» – ужасался Ягунов, словно уже видел будущие беды. Он продолжал орать, когда Званцев, потеряв терпение, взял его за шиворот, отволок в кладовку и вбросил туда на тряпки, фуфайки, папки с бумагами. Ягунов послушно затих, подложил что-то под голову и сразу уснул, не забыв, однако, вытащить из кармана бутылочку, еще раз приложиться к ней и аккуратно поставить в уголок, чтобы не увидел утром случайный человек.

– Анатолий Евгеньевич! – крикнул Панюшкин. – Зайдите сюда, пожалуйста!

Из-за служебной перегородки вышел маленький, морщинистый человечек с быстрыми движениями. Четко переставляя ноги, он подошел к столу, являя полную готовность вы-

полнить все, что будет угодно начальству. Его брови замерли наизготове в крайнем верхнем положении.

– Я слушаю вас, Николай Петрович, – сказал он деловито. И часто поморгал, словно прочистил глаза перед тем, как увидеть нечто важное.

– Видите ли, Анатолий Евгеньевич... – Панюшкин замялся, не зная, как продолжить. – Да вы садитесь, чего стоять навтыяжку... Садитесь.

– Спасибо.

Анатолий Евгеньевич Кныш не осмелился сесть напротив. Он взял стул, стоявший поодаль, приставил сбоку да еще и сел боком – получилось скромно и уважительно.

– Что вы меня благодарите? – проворчал Панюшкин. – Здесь-то, в столовой, вы хозяин...

– Так-то оно так, – быстро подхватил Анатолий Евгеньевич, – но все-таки, знаете, когда тебе предлагают сесть, это всегда настраивает на хороший лад...

– Боюсь, это не тот случай.

– Нет-нет, Николай Петрович, не скажите! Вы должны согласиться, что далеко не всегда услышишь приглашение сесть, тем более от человека вашего масштаба. Да-да, масштаба! – Анатолий Евгеньевич умолк, недовольно покосившись в сторону кухни, откуда донесся непочтительный женский смех. – Знаете, не могу не рассказать... Как-то был в Южном, кажется, в прошлом году... Хотя нет, в позапрошлом... Нет, все-таки в прошлом. В позапрошлом со мной

другая история произошла, я о ней обязательно вам расскажу... Что любопытно: за время пребывания в этой так называемой столице островного края, Николай Петрович, вы не поверите, мне, человеку не первой молодости, а если между нами, то и не второй – ха-ха! – мне ни разу не предложили сесть, представляете? Не пришлось встретиться с человеком – я имею в виду человека руководящего круга, – который бы вот так непосредственно и в то же время, как бы это сказать... Ну, вы меня понимаете...

– Подождите ради бога! – воскликнул Панюшкин, задыхаясь в этом безостановочном потоке слов. – Подождите. Я о другом хочу сказать.

– Пожалуйста, всегда готов вас выслушать. – Анатолий Евгеньевич вытер губы, будто перед этим жевал что-то жирное. – Я как тот пионер, ведь здесь все мы в какой-то мере пионеры, первооткрыватели, первопроходцы! Так вот, я тоже, как говорится, всегда готов! Но пусть моя шутка, мой каламбур не покажется вам...

– Анатолий Евгеньевич, вы можете помолчать несколько минут? – серьезно осведомился Панюшкин.

– Молчу. Молчу как рыба об лед. Молчу как...

– Возможно, – прокричал Панюшкин, а убедившись, что Анатолий Евгеньевич замолчал, повторил уже тише, – возможно, мне следовало вам сказать раньше об этой неприятности в столовой.

– Николай Петрович, я заходил к вам! – Кныш молитвен-

но прижал руки к тому месту, где, по его представлениям, должно находиться сердце. – Не один раз я заходил к вам, но, к сожалению, вы были заняты. Эта Комиссия... Я просто не решился, полагая, что...

– Рабочие написали на вас жалобу. Вы должны признать, что вышло нехорошо. – Панюшкин некоторое время говорил одновременно с Кнышем и только последние слова произнес в тишине.

– Уже?! – искренне удивился Кныш. – Очень даже оперативно! В наше время, когда нам с вами приходится каждый день...

Без особого труда Кныш объединил свою работу с работой Панюшкина и начал развивать мысль о том, как тяжело жить в таких вот невыносимых условиях. Только беспокойный блеск в глазах да мечущиеся ладошки говорили о том, что Кныш по-настоящему встревожен и торопится, торопится произнести как можно больше слов, чтобы подальше уйти от неприятного разговора.

– Время-время! – горестно восклицал Кныш, прикрыв глаза. Его веки, казалось, двигались не сверху вниз, а наоборот, снизу – это делало его похожим на петуха. – Если не ошибаюсь, Николай Петрович, мы с вами здесь самые старые, если позволите употребить это слово, поскольку я имею в виду не возраст, а стаж. Только у нас с вами да еще у кое-кого хватило духу пробыть два года кряду. Хо-хо-хо! Сколько за это время сменилось народу! Каких только не было...

представителей рода человеческого! Да что говорить, вы и сами знаете. Жизнь-то – она что мочалка, она хоть кого... Было бы желание... А ведь некоторые думают, что это все так... Будто и нет ничего. А если разобраться? Кого угодно возьмите... Как говорят, что в лоб, что по лбу... Я знаю людей, готовых хоть на что, а вот нет же...

Панюшкин, уже собравшись было перебить Кныша, с удивлением прислушался. Похоже, тот выдыхался, испуская последние слова, уже не в силах увязать их в какой-то порядок.

– Да-да, Николай Петрович, – продолжал Кныш затухающим голосом. – И не говорите. Тут и климат, и возраст, и зарплата... Иногда задумаешься – как все-таки на свете бывает... А ведь не всем дано! Ох не всем!

– Послушайте меня! – не выдержал Панюшкин.

– Господи! – встрепенулся Кныш, почувствовав, что почва вновь дрогнула под его ногами. – О чем разговор! Конечно! В конце концов вы здесь, не в обиду будь сказано, все и вся...

Панюшкин застонал сквозь зубы, выслушивая очередной поток слов. Не мог он жестко поговорить с человеком, которого собирался наказать. Да и Кныш – уж больно человечешко-то в его глазах был никудышный. В таких случаях Панюшкин боялся ненароком обидеть человека, но, когда убеждался, что ошибки нет, проводил прием бестрепетно, как борец, укладывающий противника на лопатки, чтобы

поскорее закончить схватку.

– Значит, так, – сказал Панюшкин негромко, будто долго-терпением исполнил долг перед Кнышем. – Сегодня я подписал приказ о снятии вас с занимаемой должности. В приказе указана причина – злоупотребление служебным положением.

– В чем же оно, интересно, выразилось, это, как вы изволили выразиться, злоупотребление? – Кныш вдруг сморщил лицо в улыбке, которой Панюшкин никогда не видел раньше. Улыбка оказалась маленькая, словно сжавшаяся, были видны только два передних зуба, длинные и узкие, которые делали Кныша похожим на крысу.

– Воровство.

– А это доказано?

– Вы хотите, чтобы я доказал это с соблюдением всех требований законодательства?

– Мм... Пожалуй, не стоит так обострять маленькое недоразумение. Если мне не изменяет память, это первое замечание или, скажем, порицание, которое вы мне делаете?

– Другими словами, до сих пор вам везло?

– С кем не бывает, Николай Петрович! Все мы люди! – убежденно воскликнул Кныш и опять вытер рот.

– Иногда я тоже так думаю! – звеняще сказал Панюшкин. – А иногда – нет. Иногда я так не думаю. – Он сбросил с себя непонятное оцепенение, которое вызывал Кныш своим подобострастием. – Передадите дела Анне. Анна! Ты

слышишь? Примешь дела у Анатолия Евгеньевича. А вы, – уже тише добавил Панюшкин, – можете, если хотите, перейти на ее место.

– Господь с вами, Николай Петрович! Ей же восемнадцать лет!

– Прекрасный возраст. Разве нет?

– Она не справится!

– Поможем.

– А я, выходит, недостоин вашей помощи?

– С вами другой случай. Вы проворовались. В чем же прикажете помогать вам?

– Ну, почему же так... оскорбительно, Николай Петрович? Проворовался... Да, был прискорбный случай, о котором я искренне сожалею.

– Разве это первый наш разговор, Анатолий Евгеньевич?

– Но я готов поклясться, что последний!

– Я тоже готов в этом поклясться, – ответил Панюшкин тихо. – Больше мне не придется с вами говорить об этом.

– А если я не соглашусь на место Анны?

– Могу предложить на выбор еще несколько мест. Учитывая ваши возможности, образование, физическую закалку...

– На стройке?

– Да.

– Не пойдет.

– Как будет угодно, – Панюшкин поднялся, давая понять, что разговор окончен.

– Хорошо. Так и быть. Я согласен на место этой девчонки. Буду кладовщиком. Но на мою помощь пусть не рассчитывает.

– Полагаю, она и не согласится принять ее, вашу помощь. А если вздумаете доказать свою незаменимость, найдем и кладовщика. Кстати, в ее обязанности входила уборка помещения. Теперь это входит в ваши обязанности.

– Даже так... – Кныш быстро встал и направился к выходу. А выйдя, изо всей силы хлопнул дверью.

– Анатолий Евгеньевич! – крикнул Панюшкин. Шаги в тамбуре смолкли, потом медленно, осторожно приблизились к двери.

– Входите же!

Дверь медленно открылась.

– Слушаю, – холодно сказал Кныш, не переступая порога.

– Анатолий Евгеньевич, – со вздохом проговорил Панюшкин. – Неужели у вас не нашлось другого способа выразить мне свое неуважение, кроме как хлопнуть дверью? Это так вульгарно. Да и неосторожно. Я ведь могу обидеться, испачкать вам трудовую книжку номерами всяких статей, на что имею не только право, но даже обязанность. Нет-нет, я не пугаю вас, сразу говорю, что не сделаю этого. Но, Анатолий Евгеньевич, неужели хлопнуть дверью, стукнуть кулаком по столу, топнуть ногой – это все, что у вас есть, а? Будьте милостивы, ублажите мое стариковское любопытство!

Кныш глотнул воздуха, но ничего не сказал. Молча стоял

в полумраке тамбура и затравленно смотрел на Панюшкина, поблескивая двумя длинными передними зубами.

– Подойдите же, Анатолий Евгеньевич. У меня такое ощущение, будто вы хотите что-то сказать. Может быть, у вас на душе накопело, а? – Панюшкин понимал, что поступает плохо, поддразнивая этого человека, но ничего не мог с собой поделать, уж слишком откровенная злоба горела в глазах Кныша.

Будто пересиливая себя, будто ему с трудом давалось каждое движение, Кныш медленно приблизился. На шее у него болтался перекрученный шарф, косо надетая шапка с торчащим ухом делала его смешным, а громадные, обшитые кожей валенки казались чужими, будто кто-то шулки ради взял да и вставил его в эти твердые, звенящие при ударе валенки. Чуть подавшись вперед, Кныш неотрывно смотрел на Панюшкина, губы его произвольно шевелились.

– Смелее, Анатолий Евгеньевич, – улыбнулся Панюшкин. – Смелее. Не надо обиду оставлять в душе, это вредно. Обиды скапливаются и загнивают... Их лучше сплевывать, как выбитые зубы.

– Смеетесь, Николай Петрович...

– Смеюсь, – подтвердил Панюшкин. – Вы дали мне на это право. А что прикажете делать, если вы хлопаете дверью, топаете ногами?

– Как же я вас ненавижу, – тихо выдавил Кныш.

– Я знаю, – быстро ответил Панюшкин. – Я это понял,

когда вы пять минут назад начали сыпать мне комплименты.

– Да! Да! Я сыпал вам комплименты, потому что с вами нельзя разговаривать иначе! Вы же начальник! Толыс! Ха-ха! Толыс! Скажите пожалуйста! Из грязи да в князи! А что стоит за всей вашей уверенностью, снисходительностью, улыбочками? Ведь вы упиваетесь своей должностью! Лиши вас этой власти – что останется? Жалкий, ни к чему не пригодный старикашка!

– Совершенно с вами согласен, – серьезно ответил Панюшкин. – Должен признаться, эта мысль и меня тревожит.

– Вы цепляетесь за свою должность, вы готовы на что угодно, чтобы сохранить ее за собой! В ней вся суть вашей жизни!

– И опять согласен, – сказал Панюшкин, окинув взглядом судорожно изогнувшуюся фигуру Кныша. – Я в самом деле держусь за свою должность и готов принести какие угодно жертвы, чтобы сохранить ее за собой. Да, эта должность – смысл моей жизни, и у меня действительно, кроме нее, ничего нет. Никто здесь не понимает меня так, как вы, Анатолий Евгеньевич. Спасибо.

Панюшкин поднялся.

– Вы... вы... – Кныш торопился выкрикнуть самое обидное. – Вы дурак!

– Я этого не слышал, – улыбнулся Панюшкин. – Поэтому, когда через полчаса успокоитесь и войдете в берега, не надо подходить ко мне, чтобы извиниться. А сейчас займи-

теть, пожалуйста, уборкой помещения. Скоро обед. Анна! – крикнул он в сторону перегородки.

– Да, Николай Петрович! – в раздаточном окне появилась счастливая физиономия девушки.

– Проследи, будь добра, за тем, чтобы все было на высшем уровне. У нас гости, – Панюшкин подмигнул ей заговорщицки – знай, дескать, наших! И, опасливо обойдя все еще неподвижно стоявшего Кныша, вышел из вагона.

«Годы суеты и угодничества – вот что такое Кныш, – грустно подумал Панюшкин. – Как это ни печально, он во все не считает себя виновным и все случившееся воспринимает как неудачную попытку восстановить справедливость. Да, я украл, как бы говорит он, но я заслужил лишний кусок. Жизнь, прожитая без гордости, без своего мнения, дала мне право на этот кусок.

Ежедневный размен себя на мелочи не проходит безнаказанно. Наступает момент, когда человек не обнаруживает в своей душе ничего прочного, надежного, на что можно опереться в трудную минуту. А обиды требуют возмездия, и так хочется увидеть в чьих-нибудь глазах если не восхищение, то хотя бы зависть».

* * *

Панюшкин рывком распахнул дверь кабинета, переступил через порог, бросил шапку на вбитый в стену гвоздь, поверх

накинул куртку и только тогда заметил, что его место занято. Откинувшись в кресле и вытянув ноги из-под стола, дремал главный инженер Званцев.

– А, Володя... Хорошо, что ты здесь. Кое-что прикинуть надо.

– Прикинем, – ответил Званцев, не открывая глаз.

Солнечные лучи падали ему на лицо, и он наслаждался этим скудным зимним теплом. Закрыв глаза, нетрудно вообразить себя где-нибудь вдали от мерзлого Пролива, вдали от тайфунов, комиссий и прочих неприятных вещей. А Панюшкин, пристроившись сбоку на табуретке, вдруг ощутил беспокойство. Вначале он не понял, чем оно вызвано. Казалось, ничего не изменилось – все так же сидел Званцев, мирно светило в окно солнце, висела на гвозде куртка, за стеной Нина стучала на машинке. Панюшкин еще раз окинул взглядом кабинет, прислушался к голосам за стеной и наконец понял, в чем причина – Званцев. Уж слишком удобно, как-то пригнанно сидел тот в кресле. Панюшкин посмотрел ему в глаза, но не увидел ничего, кроме сверкающих стекол очков.

– Садитесь, Николай Петрович, – Званцев медленно втянул ноги под стол, лениво наклонился, собираясь встать.

– Ладно уж, сиди, – махнул рукой Панюшкин. – Привыкай, – последнее слово вырвалось произвольно и прозвучало как-то ревниво, подозрительно.

– К чему привыкать, Николай Петрович?

– К креслу начальника строительства.

– Думаете, пора?

– Вполне. Отсюда можешь спокойно уходить начальником. На любую подобную стройку.

Званцев усмехнулся, поняв, что Панюшкин ушел от ответа.

– Так что вы хотели прикинуть, Николай Петрович? – Званцев наклонился вперед, и лицо его оказалось в тени, очки стали прозрачными.

Увидев в глазах главного инженера лишь доброжелательное внимание, Панюшкин совсем успокоился.

– Володя, я хочу еще раз с тобой, как с хорошим специалистом, единомышленником, с которым разделяю ответственность за стройку, убедиться в том, что мы не совершили технической ошибки, – четко проговорил Панюшкин.

– Ошибки? Какой? Что с вами, Николай Петрович? Вы не уверены в себе? Или во мне?

– Неуверенность здесь ни при чем. Нам нужно уточнить доводы, которыми будем оперировать.

– Другими словами, вы хотите на всякий случай согласовать наши позиции?

– В этом нет надобности, поскольку позиция у нас одна. Разве нет?

– Разумеется, Николай Петрович, о чем разговор! Я прекрасно вас понял – нужно сделать все, чтобы Комиссия не могла ни к чему придраться.

– Опять нет, – Панюшкин обиженно помолчал с минуту,

словно его заподозрили в чем-то некрасивом. – Если Комиссия сможет к чему-то придраться, я пальцем не пошевелю, чтобы помешать. И никому не позволю делать этого. Иначе мне неинтересно.

– Простите, как вы сказали? Неинтересно?

– Да. Именно так.

– Николай Петрович, послушайте... Комиссия приехала вовсе не для того, чтобы перенимать передовой опыт или награждать нас орденами. Хотя, вполне возможно, мы их и заслуживаем. Задача Комиссии – найти причину срыва строительства. Эту причину, Николай Петрович, они найдут, потому что такова задача. Значит, мы обязаны сделать все, чтобы не оказаться кроликами. Они не должны найти ошибку в наших действиях. Независимо от того – была она или нет.

– Продолжай, Володя, – тихо сказал Панюшкин. – Продолжай.

Званцев видел, что Панюшкин начинает злиться. Но решил не отступать. Для Панюшкина выводы Комиссии – дело чести, а для него – вопрос будущего. И если Панюшкин из-за своей ли силы, слабости, из-за своего благородства, капризности, честолюбия – какая разница? – если он будет играть в открытую, это его дело. Что касается технического руководства – да, мы единомышленники, но это вовсе не значит, что мы должны оставаться таковыми во всем остальном.

– Продолжу, – медленно проговорил Званцев. – Я уверен, что все технические решения верны. Но поскольку толпа ре-

визоров прибыла, чтобы доказать обратное, для меня уже не имеет большого значения правильность моих и ваших действий. Мы с вами в одной команде, и мы уже вышли на поле. Наша задача выиграть. Поймите, постарайтесь меня понять... Нам не верят.

– Нам верят, – перебил Панюшкин. – Нам дали деньги, людей, время.

– Николай Петрович, им нужна жертвенная кровь! Поэтому для меня задача – выйти сухим из воды. Из воды этого Пролива, из воды, в которой, я уверен, еще не один начальник подмочит репутацию.

– Ты полагаешь, будет другой начальник строительства? – спросил Панюшкин.

– Вы сами знаете, что это не исключено.

– Скажи мне, Володя, жесткий и рациональный человек, вот, к примеру, ты играешь в шахматы, так? И твой противник отвлекся, а ты, воспользовавшись этим, спер у него фигуру и благодаря этому выиграл. Тебе будет приятна такая победа?

– Это нечестно, Николай Петрович. Вы так поставили вопрос, что я поневоле должен ответить «нет», дескать, такая победа неприятна. Но если скажут: выиграешь – будешь жить, проиграешь – пеняй на себя, к стенке поставим? Знаете, сопру фигуру, две, три. И не буду чувствовать никаких угрызений совести. Больше того, буду гордиться собой.

– Все это так, да только не по-русски как-то. – Панюшкин

с силой потер ладонями лицо. – Ты, конечно, маленько передернул и сам знаешь где... Меня ведь никто не собирается ставить к стенке, если обнаружится ошибка, если выяснится моя несостоятельность как начальника строительства. Понимаешь, каждый раз, когда решается нечто важное для тебя, появляется соблазн разрешить себе любые действия, освободить себя от приличий, сказать себе, что ты должен победить, не считаясь ни с чем, ни с кем. И при этом сделать вид, что тебя собираются поставить к стенке. Но, знаешь, по этому пути можно слишком далеко зайти. Мне он не подходит. После такой победы я буду паршиво себя чувствовать. Признаюсь – я слишком честолюбив, чтобы ради чего-то, пусть даже значительного, жертвовать своим настроением. Даже настроением! Понимаешь, Володя, хочу чистой победы.

– Должен сказать, у вас довольно своеобразное честолюбие, – усмехнулся Званцев.

– Конечно, для меня важно, как ко мне относятся начальство, друзья... Но я и сам хочу хорошо к себе относиться. Понимаешь, иметь на это право, а не просто преклоняться перед собственной персоной. Иначе не могу руководить людьми, наказывать их, поощрять. На все это я должен иметь разрешение от своей совести, прости мне, будь добр, красивые слова. Иногда без них не обойтись. Теперь о Комиссии... Ты считаешь ее выводы predetermined? Я правильно тебя понял?

– Не то чтобы predeterminedенными... – Званцев встал, сунув руки в карманы, прошелся по кабинету.

– Ты что-то говорил о жертвенной крови... Поясни, будь добр, – Панюшкин хмуро посмотрел на главного инженера.

– Вы не согласны?

– Нет.

– Комиссии нужен виновник, – Званцев остановился возле Панюшкина, нависнув над ним, глядя с высоты своего роста спокойно, даже снисходительно. – От Комиссии требуется не только диагноз, но и метод лечения. Что предложит она в объединении, в райкоме, в министерстве, если придет к выводу, будто все мы прекрасные специалисты, незаменимые люди? Что повезет Комиссия в высокие инстанции, если обнаружится, что мы не совершали ошибки, что наши технические решения безукоризненны и мы отлично справляемся с обязанностями?

– И ты полагаешь...

– Полагаю. Жертва нужна, Николай Петрович.

– Ишь ты! – Панюшкин внимательно посмотрел на Званцева снизу вверх. – И что же ты предлагаешь?

– Предлагаю подумать, кого принести в жертву. Моя кандидатура вполне подойдет. Должность весьма ответственна, мою молодость можно назвать неопытностью, хорошие отношения с вами – кумовством, горячность – непослушанием.

– А я подойду? – Панюшкин резко отодвинул Званцева в сторону, будто тот мешал ему свободно дышать.

– Вполне! – засмеялся Званцев, не поняв тона начальника.

– Блажь! Володя, ты даже не представляешь, какую несешь блажь! В тебя заложена недоброкачественная, ложная, паршивая программа! Заткнись! Слушай! Ты достаточно четко изложил свои взгляды. Володя, откажись от них. Я могу привести тебе десятки случаев, когда в самом безнадежном положении, держа ответ перед самыми высокими комиссиями, люди побеждали не лукавством, а убежденностью в своей правоте. Ты молод и не знаешь силы откровенности, понятия не имеешь о сокрушающей мощи честности! Володя! Тысячи лет хитрые и безжалостные пытаются победить честных простаков, вообще пытаются вытравить из душ людей понятия о доверительности, бесхитростности – и не могут! Не могут, ядрена шишка! – Панюшкин грохнул пальцами о стол с такой силой, что из остатков зеленого сукна выползли облачка пыли. – Собственным примером, громкими победами, самым образом жизни коварство и жестокость пытаются доказать несостоятельность честности. И не могут. Почему? Отвечай – почему?! Ладно, молчи. Отвечу. Ни один человек, даже самая последняя сволочь, не может преодолеть соблазна быть откровенным. Хотя бы изредка. Миллионы прекрасно обходятся без подлости, обмана, злобы. Но ни один прохвост не может обойтись без искренности! – Панюшкин устало откинулся на спинку кресла. – А ты говоришь о жертвенной крови. Не знаешь жизни, Володя... Не надо так улыбаться, это ухмылка разочарованного баловня.

Отличное знание парадных и черных входов, запасных выходов, тайных переходов – это еще не знание жизни. Большой Маховик крутят простые и бесхитростные люди.

– Николай Петрович, сколько с вами работаю, столько вы меня озадачиваете. Пролив, я уже понял, это вероломное и мстительное существо. Вас не назовешь вероломным, но кто опаснее... Не знаю. Кто вы, Николай Петрович? В каких богов верите? Кому жертвы приносите? В чью честь жертвенный огонь раздуваете? Какие молитвы творите?

– О Володя! Я самый настоящий язычник! Если я назову тебе всех своих богов, всех богов, в которых верую... ты ужаснешься. Правда-правда, я не шучу.

– Так вы верующий, Николай Петрович?

– Да, – подтвердил Панюшкин. – В тебя верую. В твою добросовестность и порядочность. В себя тоже верую. В свои силы, в свой опыт, в то, что мне удастся закончить эту работу. Верую! Как и всякий добропорядочный язычник, верую в Пролив, в эту Зиму, в Трубу, верую и готов их боготворить. Да что там готов – я давно отношусь к ним с трепетным религиозным почтением. Конечно, самый страшный и злой бог – это Тайфун. Он берет жертвы сам, не дожидаясь, пока я принесу ему, он не нуждается ни в моих молитвах, ни в моем преклонении. Но ты не поверишь – я боготворю даже Хромова. Это плохой бог, слабый и пакостливый, но и от него зависит моя жизнь. Я произвел в боги всех членов Комиссии и даже следователя Белокопя. Все они – сильные

и уважаемые мной боги.

– Николай Петрович, а вы не хотите принести им жертву? – без улыбки, как-то слишком уж серьезно спросил Званцев.

– Перебьются, – жестко ответил Панюшкин. – Есть боги и посильнее, я тебе их только что назвал... Чтобы они казались более могущественными, могу украсить их величественными определениями – Вызывающая Честность, Воинственная Убежденность, Всесминающая Бесхитрость... Вот им я готов принести в жертву хоть самого себя.

– Опасный вы человек, Николай Петрович. Я говорю это в самом прямом смысле слова. И знаете, в чем ваша опасность?

– Очень хотелось бы знать!

– В логике ваших поступков, решений, действий. Она непредсказуема. Она вываливается за рамки нынешних форм, нынешних представлений о возможном, приемлемом, допустимом. Иногда ваши доводы кажутся мне наивными, слабыми, иногда отчаянными, но каждый раз оказывается, что они выстраиваются в некую линию, в некую позицию. И кажется мне, что в конечном итоге позиция получается совсем неплохая. Она дает свободу действий и позволяет чувствовать себя достаточно уверенно. Не знаю, как это вам удастся, но удастся.

– Ничего сложного, ничего противоестественного, – ответил Панюшкин. – В любом положении нужно оставаться

спокойным и не терять чувства собственного достоинства. Мне много раз приходилось встречать людей, пытающихся добиться чего-то самоуничижением. С каким-то странным азартом, в котором была даже искренность, они доказывали, что простоваты и невежественны, что их нужно пожалеть и утешить, иначе они могут совсем захиреть... Но самое странное то, что им все-таки удавалось добиться своего. Значит, их расчет был верным, значит, самоуничижение может оказаться полезным, значит, как тактический ход оно принимается, одобряется?

– О вас этого не скажешь, Николай Петрович. Вы заметили, как с вами разговаривают рабочие, техники?

– А как со мной разговаривают? – насторожился Панюшкин.

– С таким легким вызовом, как бы поддразнивая вас, подчеркивая какую-то свою значительность... Вы что же думаете, все у нас тут такие ершистые, занозистые, непокорные? Как бы не так! Они просто поняли, что покорной просьбой от вас ничего не добиться, что вы этого не принимаете.

– Правильно, я требую от человека искренности, естественности, мне нравится видеть человека таким, каков он есть. Если он лебезит, значит, лукавит, хитрит, хочет получить нечто такое, чего ему не положено, и он знает, что не положено. А расчет какой – поунижаюсь, дескать, зато добьюсь своего. А мне это противно. Ничего я в жизни не хочу получить унижением, угодничаньем. Веришь?

– Верю, – кивнул Званцев. – Но скажите, Николай Петрович, сила это или слабость? И вообще в чем сила – в том, чтобы, несмотря ни на что, добиться своего, или в том, чтобы пренебречь?

– Здесь не может быть однозначного ответа, – сказал Панюшкин, помолчав. – Нет рецептов на все случаи жизни. Могу только сказать, что сила не в том, чтобы поспеть, получить, ухватить... Хотя чаще всего она проявляется именно в этом. Готовых решений не бывает. Та же Комиссия... Полагать, что она приехала с готовым решением, – значит переоценивать собственную персону.

– Не вижу связи, – Званцев вскинул подбородок, как бы слегка обидевшись, но жест неожиданно получился надменным.

– Связь в том, что если принять твою точку зрения, то выходит, Комиссия приехала лишь для того, чтобы ублажить наше самолюбие, нашу спесь! – резко сказал Панюшкин. – Чтобы оставить нас в приятном заблуждении, будто уволить, снять тебя или меня позволительно только на основании выводов такой вот Комиссии. Володя! Если дойдет до этого, все можно сделать гораздо проще!

Званцев действительно знал Пролив едва ли не лучше всех в стране. Научные экспедиции еще не добрались до этих мест, лишь у метеорологов были самые общие сведения о его режиме, течениях, сменах приливов и отливов. Наибольшая

сложность для строителей состояла в непостоянстве характера Пролива – все время менялись скорость, направление течения, даже продолжительность пауз между переменами течений колебалась. Иногда она длилась не более пяти минут, иногда – полчаса, но зато потом вода шла в противоположную сторону со скоростью, которая вдвое превышала обычную. Никогда не оттаивало полностью дно Пролива, даже к концу лета в нем оставались линзы вечной мерзлоты. Прорыть в такой линзе траншею для трубы было делом тяжелым и трудоемким. На мелководье приходилось подолгу скоблить дно ковшом экскаватора, на глубине применяли взрывчатку. Стоило наткнуться на такую линзу – и останавливалась вся работа. При отличной погоде строители неделями не могли сдвинуться с места, вынуждены были оставлять трубу на дне без заглубления, рискуя отдать ее на растерзание очередному Тайфуну.

– Конечно, я уверен, что технической ошибки мы не совершили, – медленно проговорил Панюшкин, разглядывая схему трубопровода на стене. – Я смогу доказать это даже Чернухо, которому вообще трудно доказать что-либо. А уж ввести его в заблуждение... все равно что... В общем, это невозможно. Поэтому, Володя, твое стремление в любом случае выйти сухим из воды говорит только о том, что ты не знаешь Чернухо. В Комиссии он представляет заказчика. Меня не волнует ни представитель министерства, ни областная пресса в лице товарища Ливнева. Даже Мезенов. Об

Опульском и не говорю. Чернухо – вот где опасность.

– А мне он показался... чуть ли не шутком гороховым, – озадаченно сказал Званцев. – Ходит, балагурит...

– Шутком показался? Да он и есть шут. Но при этом – специалист каких свет не видел. Да-да, старый, толстый и лысый Чернухо при желании всех заставит признать себя первым красавцем.

– Как же это ему удастся?

– У него, Володя, голова работает. Вот и весь секрет. Голова, между прочим, нашим с тобой не чета.

– Ну, это уж вы, Николай Петрович, бросьте, – обиделся Званцев не то за себя, не то за Панюшкина. – В конце концов все технические познания ограничены.

– Я тоже так считал, пока Чернухо не ткнул меня однажды носом, как кутенка. Обмануть его не удастся. Да я и не хочу этого. Мне важно, чтобы Чернухо признал: трубопровод не сдан в срок только из-за этого дурацкого Тайфуна, который поднял весь Пролив в воздух, перемешал его с прибрежным песком, с катерами, баржами, трубами, а заодно и с нашими планами. Ты помнишь, Володя, сколько мы прошли за первое лето? Шесть километров. Это было здорово! Нас носили на руках. А этим летом мы прошли только два с половиной километра... Почему?

– В первое лето мы прошли самые легкие километры. По мелководью. Мы не встретили ни одной линзы вечной мерзлоты, нам не приходилось взрывать дно. Кроме того, с

увеличением глубины Пролива возросла скорость течения, появились мерзлотные участки. Не забывайте, что вначале мы были общими любимцами. Наши заказы выполнялись в первую очередь, оборудование присылали почти новое. А снабжение горючим, инструментами, рабочими, специалистами! Мы почти не знали забот, Николай Петрович! А затем к нам привыкли, к нашим трудностям тоже, потом мы надоели. Появились другие стройки, более крупные, более сложные. Если раньше мы требовали, то сейчас вынуждены клянчить.

– К тому времени, когда мы начали клянчить, стройка почти всем была обеспечена. Нас перестали снабжать в аварийном порядке, решив, что пора и ответ держать. Но неужели мы где-то пробуксовали?

– Если этого не знаете вы, не узнает и Чернухо, – очки Званцева надменно сверкнули.

«А ведь Панюшкина снимут! – вдруг подумал Званцев. – И будут правы. Потому что Панюшкин слабак. – Он, не перебивая, кивал, поддакивал и смотрел, смотрел на начальника сквозь сверкающие стекла очков. И все больше крепло в нем убеждение, что тот доживает последние дни в своей должности. – Он слаб не потому, что плох, он уязвим. Слишком много у него принципов, слишком уж он держится за них. О принципах хорошо говорить, говорить умно и значительно. Но держаться за них – дело рискованное. Принципиальность Панюшкина будет воспринята как нетерпимость, капризность.

Нужны гибкость и податливость, а Панюшкин тверд и хрупок. Как он жил до сих пор? Как сохранился и выжил? Как стал начальником стройки? А впрочем, быть начальником здесь для человека его возраста, опыта... не больно велика честь. Но он не производит впечатление сосланного. Да он и не считает себя сосланным. Иначе не смог бы работать. Вот в чем все дело – он уйдет сам, даже если ему всего-навсего объявят выговор. Для него это будет означать потерю лица. Бедный старик... Боится потерять лицо. Вот чего он боится по-настоящему. Он даже слова не скажет в свою защиту, если обнаружится малейшее его упущение. Верит ли он мне? Верит. Может, в этом его ошибка? Предать его я не смогу. Да в этом и нет надобности. Если Комиссия решит, что техническое руководство безупречно, то это хорошо в первую очередь для меня. Панюшкин думает, что для него... Нет. Виновник им все равно понадобится. А я на эту роль не годюсь. Слишком молод».

– Видите ли, Николай Петрович, мы не можем сбрасывать со счетов даже такую мелочь, как обрыв троса при протягивании.

– А почему оборвался трос? – вскочил Панюшкин. – Он не должен был обрываться. Не имел права. Значит, мы ему позволили! Мы слишком многое позволяли всем этим шторам, тросам, проливам! Распустились они у нас. Слабинку почувствовали. Нашу слабинку, Володя!

– Нет, Николай Петрович, все гораздо проще. Трос обо-

рвался потому, что был старым.

– А почему у нас оказался старый трос? Потому, что я уже слишком стар, чтобы требовать новый! У меня был такой случай лет двадцать назад. Мне прислали старый трос, и я даже не поехал за ним на станцию. Отправил обратно. А сейчас не смог этого сделать.

– Нет, Николай Петрович, двадцать лет назад вы работали не на Проливе. Принимая трос, вы знали, что не имеете права отказаться от него, потому что была осень и доставить новый попросту невозможно. И вы приняли старый трос... Все правильно.

Званцев продолжал что-то говорить, но Панюшкин уже не слышал его. Стены натопленного кабинета словно бы отшатнулись, исчезли, а зима уступила место лету, странному лету этих мест. Чем выше поднималось солнце, тем больше оно тускнело, растворяясь в тумане. К полудню от него иногда оставалось лишь слабое светлое пятно с размытыми краями. И дома, деревья, берега тоже теряли четкость, становились расплывчатыми, нерезкими.

Мелкий густой дождь бесшумно падал на крыши, на черные, выложенные у берега трубы, на песок. Едва упав, капли впитывались, и поэтому не возникало привычных на Материке луж, ручьев, поблескивающих под дождем влажных тропинок. Просто шел дождь и исчезал, едва коснувшись земли. Солнечный свет едва просачивался вместе с дождем.

Подойдя к воде, Панюшкин зябко поежился, запахнул

брезентовый плащ с капюшоном и, привычно ссутулившись, долго смотрел на Пролив, стараясь найти в тумане закрепленную на якорях флотилию. С каждым месяцем катера, баржи, катамараны приближались к островному берегу, и совсем скоро конец трубы должен был вынырнуть где-то вот здесь. А сейчас он лежал на двадцатиметровой глубине Пролива, в нескольких километрах отсюда. Набрав полные легкие воздуха, Панюшкин задержал дыхание, с силой выдохнул, будто хотел вытолкнуть из себя напряженность, разъедающие душу заботы, раздражительность, все, что к вечеру превращалось в глухую усталость.

День начался хорошо. Рокотали в тумане тягачи, подтаскивая к берегу секции труб, слышались голоса людей, из ремонтной мастерской доносились размеренные удары молота, напоминающие пульс здорового организма. Званцев тоже был на берегу. Во всей его длинной фигуре, в манерах не ощущалось той напористости, которой, казалось бы, должен обладать главный инженер. Но за внешней мягкостью, как камень в густой траве, таилась жесткость. Званцев не любил спорить, доказывая свою правоту. Он лишь молча, с поощряющей улыбкой выслушивал все доводы, а потом спокойно поступал по-своему. Разумеется, когда у него была такая возможность.

– Добрый день, Николай Петрович, – Званцев тронул Панюшкина за брезентовый рукав. – Сейчас идет катер на Пролив... Вы не хотите?

– Позже. Как прогнозы?

– Пообещали неделю тихой жизни.

– Дай бог... – одним словом выдохнул Панюшкин. – Дай бог. Ну что, Володя, сдвинемся сегодня?

– Должны. Все на ходу.

– Где водолазы?

– На катере пойдут. Я с ними... Мало ли чего... Там встретимся.

– Добро. Пусть так. Ни пуха.

Панюшкин долго смотрел, как Званцев в высоких сапогах шагал к причалу, проваливаясь в мокром песке, о чем-то неслышно разговаривал с мотористом, как катер отошел от берега и, уходя в сторону Материка, постепенно таял в тумане. И когда совсем исчез, Панюшкин продолжал вслушиваться в затихающий шум мотора, а потом и сам направился к небольшому водолазному боту, ухватившись за поручни, влез на борт. Вода забурлила, запенилась, и бот начал медленно пятиться, отступать от берега. Взбудораженная волна набежала на песок и тут же утонула в нем, оставив пену и щепки. Бот развернулся, мотор заработал увереннее, и вот уже внизу почувствовалась глубина. Дождь не прекращался. Панюшкин стоял у борта, ухватившись за холодные поручни. Капюшон его намок, стал жестким. Капли дождя барабанили по нему звонко, как по сырой фанере.

Наконец впереди вспыхнул слабый огонек электросварки, потом еще один, еще, показалась неясная темная масса – бот

приближался к маленькой флотилии, застывшей посредине Пролива. Здесь сваривали концы трубных секций, перед тем как опустить их в воду, на одной из барж стояла тяговая лебедка. В тумане суда казались неподвижными, будто врытыми в землю. Волн не было видно, только у бортов угадывалось безостановочное течение Пролива.

Перебравшись на буксировщик, Панюшкин молча наблюдал, как водолазы вылавливают буюк с концом троса, закрепляют его на буксировщике, проверяют прочность узлов. Второй конец троса круто уходил в воду. Где-то там, в черной глубине, он был намертво закреплен на трубе.

С катера на буксировщик перебрался и Званцев.

– Ну, Володя, – встретил его Панюшкин, – что подсказывает тебе твоя молодая интуиция главного инженера?

– Молчит, Николай Петрович.

– Это хорошо. К интуиции можно относиться как угодно, но лучше всего, когда она молчит и не вмешивается со своими страхами, опасениями, предостережениями. Это точно. Проверено. Трос бы покрепче, Володя. Тогда вообще интуицию можно было бы послать ко всем чертям. Боюсь я за этот трос.

– Выдержит, никуда не денется.

– Дай бог, – повторил как заклинание Панюшкин.

– До сих пор выдерживал, а секция сегодня не самая большая.

– Мы, Володя, тоже иногда выдерживаем большие непри-

ятности, а потом срываемся на малых... Ладно. Хватит. Давай команду.

И наступил момент, когда на полную мощность заработали двигатели буксировщика, вспенивая холодную зеленоватую воду, натянулся, зазвенел трос. Панюшкин почувствовал, как напрягся корпус судна, все его невидимые каркасы, как винты рвали воду, а моторы, едва не задыхаясь, тащили, тащили, тащили трос, закрепленный на присосавшейся ко дну трубе. До боли сжав кулаки, закрыв глаза, Панюшкин стоял, прислонившись спиной к рубке, и прислушивался к поскрипываниям судна, к реву двигателей, к шуму взбуржающей воды.

– Сдвинулись, Николай Петрович! – радостно поблескивая очками, закричал Званцев. – Сдвинулись!

Панюшкин не ответил. Только кивнул. Да, дескать, знаю, но не торопись радоваться, не торопись. Он даже про себя боялся перечислить возможные беды – вдруг сорвется крепление на трубе, не всегда выдерживает лебедка, двигатель... Да мало ли что может случиться с самой трубой там, на дне!

Миг, когда лопнул трос, Панюшкин почувствовал сразу. Освобожденно рванулся вперед буксировщик, рев моторов сразу перестал быть таким надсадным. И словно внутри у него оборвался какой-то свой маленький, но очень важный тросик. Панюшкин откинул капюшон, подставив лицо под дождь. «Лопнул», – только по движению его крупных губ можно было догадаться, что он произнес именно это слово.

Была уже ночь, когда Панюшкин спрыгнул с палубы бота на расшатанные доски причала. Дождь кончился, и над темными холмами Материка косо повисла луна. В беспокойном Проливе мелькало ее слабое отражение. С влажных ночных сопок пополз туман и заскользил над водой, все ближе подбираясь к Острову. Панюшкин долго смотрел на черную воду, на противоположный берег. Пролив казался безбрежным, и бесконечной казалась работа, ожидавшая людей.

Вечером у себя дома, в тишине и одиночестве, Панюшкин пил чай. Тишина не успокаивала его, наоборот – настораживала, словно каждую минуту была готова взорваться резким стуком в дверь, неожиданным бурном, чьим-то криком. Носсящаяся в воздухе опасность могла не затронуть его, пронестись мимо – как шальная пуля, но сама ее вероятность придавала жизни Панюшкина ту напряженность и остроту, которых так часто не хватает людям в старости. Впрочем, это была даже не опасность в полном смысле слова, скорее возможность двойного исхода. С тобой может случиться многое, может и ничего не случиться, но, помня об этом, в шелесте листьев, в грохоте моря, в цвете неба и форме туч ты невольно видишь предостережение, предсказание, листья, волны, небо, тучи наделяешь сознанием, волей, а собственные опасения кажутся непонятными существами, мелькающими где-то рядом.

Панюшкин спешил, все время спешил, наверняка зная, что не будет, никогда уже не будет у него строк. Ни боль-

ших, ни малых. Все, что происходит с ним на Проливе, происходит в последний раз. Еще несколько лет назад его не покидало ощущение, будто не кончится поток дней, наполненных пыльными грузовиками, телефонными звонками, спешкой, оперативками, схватками с самим собой, собственными болезнями, желаниями и страхами. И вдруг пришло жутковатое чувство – все происходит в последний раз. За ближайшими холмами, в морозной дымке зимнего дня Панюшкин ясно увидел конец своей дороги.

Где-то очень далеко остались безводные степи, нефтепроводы, переправы через большие и малые реки. Все это было очень давно, но не исчезло у Панюшкина странное ощущение, будто и сейчас, в это самое время, он, двадцатилетний, маленький и худой, в выгоревшей гимнастерке, работает в горах Киргизии, строит переправу на Волге, в ободранной фуфайке, с обмороженными пальцами ведет трубопровод через какую-то сибирскую речушку...

Работа стала его религией, только работа имела для него значение, только количество метров уложенных труб определяло его собственную температуру, давление, настроение. О чем бы ни думал Панюшкин – о погоде, ссорах, прогнозах на ближайшие сутки или месяц, – он думал о работе. И даже в праздники, во время застолья, невольно прикидывал количество выпитого, потому что это отразится на завтрашней работе.

Панюшкин спешил, хотя знал, что победа, если она будет,

станет его последней победой. Но она оправдывает все неудачи, поражения, которые он потерпел в жизни и которые пока еще имели для него значение. «Главное, что в конце была победа, – думал Панюшкин. – Каждый человек хотя бы раз в жизни должен объявить чему-то или кому-то войну, свою войну. И каждому нужна хотя бы одна крупная победа! Над врагами, обстоятельствами, болезнями... Пусть даже это будет победа над самим собой».

* * *

Утром, когда на солнце сверкало все заснеженное побережье, а редкие черные избы, тягачи и вагончики на льду казались случайными, временными пятнышками, следовательно Белоконь в сопровождении участкового Шаповалова, пожилого, прихрамывающего, полноватого человека, прошел к небольшой избе, в которой размещалось местное отделение милиции. Здесь толпилось около десятка человек из тех, кто был вызван повестками, кто был свободен или просто любопытен. Нечасто в Поселке происходили какие-либо события, не связанные с трубопроводом, и многие вполне справедливо рассудили, что пропустить такое развлечение было бы слишком легкомысленно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.